

## ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Литературный  
альманах

№ 1

### СОДЕРЖАНИЕ

<b>К читателям</b> .....	
Светлана Кекова. <b>ПОКИНУТЫЕ ДОМА</b> . Стихотворения.....	
Иван Шулпин. <b>ДВА РАССКАЗА</b> .....	
Я. Удин. <b>СОЛНЦЕ ШЕПЧЕТСЯ С ТЕНЬЮ</b> . Затравки.....	
Виктор Бирюлин. <b>ЯБЛОНИ В БУРКИНО</b> . Эссе.....	
Иван Васильцов. <b>РАССКАЖУ ОБ ОТЦЕ</b> . Очерк.....	

#### **К читателям**

*Впечатления определяют нашу судьбу.*

*Некоторые впечатления заставляют нас страдать. Безусловно, вокруг много горя. Каждый день приносит новые известия о страданиях людей – стихийных бедствиях, войнах, убийствах, насилиях, социальных конфликтах и бытовых неурядицах.*

*Но есть и другая, лучшая сторона жизни, оставляющая радостные, светлые впечатления. Они дают нам ощущение полноты бытия, помогают постигать гармонию всего сущего. Говорить всю правду о творящихся на Земле бесчинствах, добиваться справедливости является важнейшей задачей и для писателей. Но разве менее важно показать жизнь во всём её блеске, показать её солнечную сторону? Поймать и передать словом искрящиеся светом счастливые мгновения. Когда ночь сгущается, рассвета ждёшь с особым нетерпением. И поэтому так важно сохранить лучшие проявления дарованной нам жизни. Наперекор теснящей темноте мы предпочитаем оставаться на солнечной стороне, поддерживая в читателях веру, надежду и любовь.*

*Страницы альманаха открыты для всех, для кого жизнь во всём её многообразии является источником радости и вдохновения. И кто умеет отобразить на бумаге всё это первородное богатство коротко, ясно и ярко.*

Светлана Кекова

### ПОКИНУТЫЕ ДОМА

Вот и март наступил. Облечёмся же в тёмные ризы,  
упраздняя капризы, поспешно изменим репризы,  
перестанем молчать, словно путник в стране неизвестной,  
и начнём по ночам шелестеть шелухой словесной.

Словно тать, по стене таракан пробегает настырный.  
Белый мел истолчём, и, добавивши спирт нашатырный,  
скажем тихо, что жизнь стала нам, как одежда, мала.  
Лоскутком из фланели начистим в дому зеркала.

Мы поедем в Хвалынский, а потом в Аркадак и Озинки,  
пусть сиреневый лук шевелится в плетёной корзинке.  
пусть готовятся яйца сиять золотой скорлупой,  
пусть пространство и время питаются снежной крупой.

Засыпают в реке краснопёрка и синяя щука,  
и кипит в котелке шелуха золотистая лука,  
и Младенца к груди прижимает святой Симеон,  
и сидят на домах разноцветные птицы имён.

\*\*\*

Алые листья клёна,  
бабочки и жуки...  
В местности отдалённой  
жить тебе не с руки.

Тягостный груз привычек  
что ж ты влачишь с трудом?  
Лучше построй из спичек  
лёгкий, как пламя, дом.

И перейди на шёпот:  
только глухой поймёт,  
что загустевший опыт  
напоминает мёд.

Думай о числах, звуках,  
скважинах и ключах,  
о пережитых муках,  
о неземных лучах.

Видишь ты, как неловко,  
руку прижав к руке,  
Божия спит коровка  
в спичечном коробке?

\*\*\*

Стояли тополя в снегу  
и странной тяготились думой.  
И жили мы на берегу,  
на берегу реки Угрюмой.

Мы жили так, как падал снег,  
как дождь неудержимо лился,  
и каждый вечный человек  
томился или веселился.

Смотри в окно на тополя,  
покрытые листвою брэнной,  
перемещаясь, как Земля,  
внутри загадочной Вселенной.

\*\*\*

Вот путник в дом идёт по улице пустынной,  
а месяц в небесах подобен корке дынной.  
Кто в доме ждёт его? Священник? Друг? Жена?  
Настольной лампы круг? Стакана многогранник?  
Пустой квадрат окна? Но кто он, этот странник,  
и почему душа его обнажена?

Он не купец, не смерд, не мытарь, не оратай,  
и только дух его, смирившийся с утратой,  
то бредит, то горит смятением и виной...  
Вот старый календарь с полузабытой датой,  
светящийся экран с антенною рогатой  
и кактус на столе, как карлик земляной.

А старый сад зарос смородиной, малиной,  
и месяц в небесах подобен лодке длинной,  
что дремлет у воды и молча ждёт гребца.  
А он, лихой гордец, найти не может вёсел,  
он всё уже забыл и всё на свете бросил –  
и старый дом, и сад, и сына, и отца.

Тоска хмельней вина и горше хлебной водки,  
но, сердце, ты плыви на узкой длинной лодке,  
не возвращайся в мир, где больно и легко,  
где умирает ливень на чёрной сковородке  
и белое дрожит в стакане молоко.

\*\*\*

Водишь слово по кругу: сурьма, кутерьма и тюрьма.  
Слово к свету ведёшь, а вокруг – манихейская тьма.  
Слово долбишь, как землю, она тяжела и горька,  
а твои сослуживцы стоят у пивного ларька.

У пивного ларька Вознесенская церковь была,  
и над ликами пьяниц плетут пауки купола,  
и в Святая Святых вдруг въезжает, пыля, грузовик,  
и над куполом крест водружает паук-крестовик.

\*\*\*

*Если всё живое лишь помарка...*

***О.Мандельштам***

Света нет. Перегорели пробки.  
Жду, что будет память коротка  
я, сидящий в спичечной коробке  
наподобье майского жука.

Дрогнут крылья в теле полусонном.  
Мне прямого утешенья нет –  
я не знаю, по каким законам

кафкианский строится сюжет.

Если космос – тёмная пучина,  
 Кафка – дилетант или профан,  
 то в замочной скважине причина  
 кроется, как змей Левиафан.

Жёсткие надкрылья бесполезны  
 для личинок нерождённых слов...  
 Вставь железный ключ в источник бездны  
 и сломай хитиновый покров.

\*\*\*

Ночь. Вода остыла в грелке.  
 Мышь скребётся в уголке.  
 Спит скелет леща в тарелке,  
 лук в капроновом чулке.

А часы большие с боем,  
 спички, дольку чеснока  
 засыпает тонким слоем  
 смерти тонкая мука.

Дом, плывущий в неизвестность,  
 перегружен, как ковчег,  
 в нём терять свою телесность  
 не желает человек.

Не желает подчиняться  
 ходу мерному светил,  
 тяжело ему меняться  
 и терять остатки сил.

За утратой ждёт утрата,  
 в стены дома бьёт волна...  
 Где вершина Арарата?  
 Существует ли она?

\*\*\*

Зачем нам плакать в этом мире  
 и слушать птичьи голоса,  
 когда уже часа в четыре  
 горит заката полоса?

Здесь, в декабре, в районе спальном,  
 среди серо-каменных громад,  
 закат огнём горизонтальным  
 уже напоминает ад.

На плечи гражданам усталым  
 ложится груз ушедших лет,  
 хотя лиловым или алым

им обещает быть рассвет.

Но суть взаимных отражений  
не чувствует ни стар, ни млад,  
и в детских снах ещё блаженней  
благоухает райский сад.

\*\*\*

Вот храм, стоящий у реки.  
Среди надмирного сиянья  
калеки, дети, старики  
стоят и просят подаянья.

Что ж, и такой сюжет не нов...  
А ветер бьёт рукою тонкой  
в глазные впадины домов,  
затянутые пыльной плёнкой.

О, как им хочется уснуть  
и знать во сне, что понемногу  
меняет имя Млечный Путь  
на Муравьиную дорогу.

И даже тот, кто был спасён,  
кричит нам из долины райской,  
что каждый атом обнесён  
Великою стеной китайской.

\*\*\*

Играет волна, как смальта,  
где встретились свет и тьма.  
Плывут по реке асфальта  
покинутые дома.

В них всё впопыхах, некстати:  
смешенье добра и зла,  
и сломанные кровати,  
и мутные зеркала,

и розовые обмылки  
для мыльницы на стене,  
и призрак вина в бутылке  
с пчелой золотой на дне.

Мы это считаем вздором...  
Но там, в глубине земли,  
плывут по иным просторам  
дубовые корабли.

В них пленники бездн астральных  
взрывают земли пласты,  
где вместо колонн ростральных

недвижно стоят кресты.

### Два дома

1.

Ты смотришь на знакомые дома.  
Они уже не те, что были прежде,  
и кажется – они, как облака,  
во времени меняют очертанья.

Вот дом призренья Тита чудотворца.  
Какою-то волной незримой смыты  
с него кресты, и лишь один остался  
нетронутым.

Я часто здесь стою  
на оживлённом пыльном перекрёстке.

А это – дом, где я жила когда-то.  
Напротив дома – сквер, а в сквере – Ангел,  
незримо ждущий Страшного Суда.  
Шумят листвою пыльной тополя –  
они стоят на месте стен церковных,  
а купол неба чист, и там, где был алтарь,  
сидит ребёнок и в песке играет.

2.

Дом на Ильинской площади оброс  
косматой шубой времени. Вопрос.  
Ответ. Опять вопрос неслышный.  
Сейчас стоит каштан осенне-пышный  
у входа в арку, где когда-то я  
училась видеть щели бытия  
и ощущать сквозняк иного мира.  
Стоит, как прежде, у подъезда лира:  
сквозь ливень струн заржавленных видна  
исписанная часть стены кирпичной,  
и я впервые с мукой непривычной  
пытаюсь вникнуть в эти письма.

Здесь – руны и вульгарная латынь,  
иврит и вязь славянского глагола,  
скупой язык Аида и шеола,  
загадочные знаки Ян и Инь.

Да, этот дом являет мне пример  
смешенья рас, кровей и чуждых вер,  
и прыгает нарядная сорока,  
как будто измеряя пыльный сквер,  
где был когда-то храм Ильи Пророка...

## ДВА РАССКАЗА

### Хотя бы день в году

Осенью домашние утки становятся чище пером и пугливее нравом. Они одноглазо и диковато косятся в небо и коротким резким кряканьем пытаются дозваться своих легкокрылых сородичей, пролетающих иногда переменчивой цепочкой высоко над их головами. Осень заставляет домашних уток с тоскливой новизной почувствовать крылья и угадать их предназначенность для полёта.

Нечто подобное бывает осенью и с людьми. Появляется жажда чего-то неведомого и желанного, она заставляет человека отрешиться на мгновение от дня нынешнего, и человек рождает прекрасную музыку, стихи или просто думает светло...

Странные, незнакомые до того мысли и настроения пленили меня этой осенью в Песчанке, куда я попал совершенно случайно, на несколько часов.

В Песчанке, бывшем поместье графа Нарышкина, теперь санаторий для больных туберкулёзом. Нарышкины разводили в Песчанке орловских рысаков и борзых собак, славились и те и другие по всей России.

Санаторий укрылся в округлой низине: с Воронежского тракта видны только верхушки деревьев парка да стрела строительного крана. А вокруг степь: желто-серые залюки вдоль балок, мягкая зелень озимых, рыхлая чернота зяби, испятнанная рыжим суглинком, – все это прикрито вдаль сизой осенней дымкой; веет от степи непреходящей вечной мощью.

В самой усадьбе и около – множество прудов. Некоторые высохли и совсем задержались, на месте других ещё сохранились лужи с зелёным зеркальцем в три-четыре метра, густо окаймлённые с каждым годом наступающими зарослями куги и осоки.

– Этот пруд называется Купальным, – сказала мне главный врач санатория, когда мы вышли на широкую старую плотину.

По обе стороны стояли толстые, в два обхвата, вёглы. В каждом стволе на уровне человеческой груди или чуть ниже прорублены прямоугольные оконцы, зияющие пустотой выдуплившихся сердцевин. Вёглы одряхтели, мелкие сучья и ветви обили с них ветра и непогоды. В небо торчали комолые рогатины, засиженные грибами-трутами, уже полопавшимися, как копыта дряхлеющей лошади. И только кое-где из серой овражистой коры неожиданно, как берёзка из трещины в церковной стене, росла тоненькая серебристо-зелёная веточка. И листва на этой ветке, как и на церковной берёзке, была худосочная, прозрачная...

Одна из сопровождавших нас санаторских собачонок решительно бросилась с плотины и помчалась по взболтанной утками хляби. Она высоко подпрыгивала, задрал голову и прогибая спину, и почти не касалась воды. Утки испуганно зашумели, наталкиваясь друг на друга, стали неуклюже выбираться на противоположный берег. Собачонка же остановилась посреди пруда: вода едва доходила ей до живота.

– А раньше тут стояла купальня с каменными ступенями, – сказала главврач, – дно и берег были посыпаны галькой.

Сказала, и вдруг я живо представил себе тесовую купальню с полого уходящими под воду мраморными ступенями, обросшими в воде золотисто-зелёным мхом, по которому чредой проходят тени от набежавшей ряби, и мох кажется живым, движущимся... Увидел вдруг юную купальщицу: она сбросила с себя лёгкие утренние одежды, мягкой поступью сошла до последней возвышающейся над водой ступени и на мгновение замерла, зачарованная. В моём воображении купальщица предстала живой, осязаемой: с непередаваемо человеческим запахом нагретых солнцем волос, с секундной

оторопью первого прикосновения к воде, с зябко сморщившимися пятнами ещё плоских сосков и тёмным треугольником волос, подзолоченных зайчиками солнечных бликов...

Меня несколько даже смутила резвость моего воображения, и, чтобы оправдать себя, я обратился к попутчице:

– А у Нарышкина дети были?

– Не знаю. Говорят, сам он так ни разу и не заглянул в Песчанку. Видно, кроме дел хватало. Старики рассказывали, будто наезжали сюда каждое лето молодые люди; на лошадях катались, купались, по парку гуляли... А кто они ему: дети, родственники ли...

Но мне уже и неинтересно было знать, кем доводилась Нарышкину приезжая молодежь. Она существовала, воображение меня не обмануло. Значит, было среди великого множества рассветов утро, когда входила в купальню моя купальщица. И, может быть, чьи-то глаза видели её в этот момент. Может быть, проказник-мальчишка заранее притаился в прибрежных зарослях раkitника; может, невинный переросток-студент, застенчивый и мечтательный, подглядел из-за толстой ветлы; и то, что я себе только вообразил, он видел наяву, а вечером долго не мог заснуть, замирая, прислушивался к шагам и щебету наверху, в девичьей...

А главврач рассказывала, что неподалёку есть пруд, который не пересыхает даже в самые засушливые годы. Пруд этот называется Фроловым, и назван так в честь песчанского мужика Фрола. Когда-то, может быть, сто лет назад, Фрол предложил при расчистке дола под новый пруд выкопать поперек него несколько рвов и вскрыть ими грунтовые воды, а потом время от времени чистить рвы конными волокушами, не спуская воду. С тех пор пруд не пересыхал. И теперь ещё, когда купаешься, чувствуешь, как перемежается вода: теплая – холодная, теплая – холодная. Холодная – над рвами.

Мы шли по графскому поместью.

Чуть левее и ниже Купального пруда вытянулись три огромные постройки красного кирпича. Это – бывшие барские конюшни. Стены их пестрели остатками белоснежной известковой побелки. Под крышами – ряды тюремных полуокон, зарешеченных коваными прутьями.

Две конюшни на вид совсем не состарились. Разве что земля вокруг них со временем не вынесла тяжести толстых стен: вспучилась и засосала фундаменты. Третья же прогнулась всей кровлей, стены полопались и угрожающе нависли, их подпирали трухлявые берёзовые брёвна.

– На века строили, – привычно удивилась главврач. – Видишь, подалась, стена пошла. А те две и теперь бей – не разобьешь... Крепостные строили. Чего бы, казалось, стараться? А? Секрет какой-то знали. Возьми хоть побелку. Мы уж всё перепробовали. Жидким стеклом белили! И что ты: сухо – год продержится, дожди – за полгода сойдет. А этой сто лет, и она белее снега!.. Строили, будто знали, что народу послужат. Тёплые, как дома. В войну в них беженцы ютились. Теперь кумысных кобыл держим.

Мы гуляли по парку, смотрели барский дом, где теперь лаборатория. От дома веером расходятся аллеи, ничем не заросшие, широкие.

Высокой аркой сомкнулись над головой огромные ветлы, берёзы и какие-то нездешние акации, листья которых похожи на папоротниковые. Я опять обратил внимание на оконцы, прорубленные в неохватных стволах. Деревья были дуплистые. Зачем это? Может, когда-то в дуплах разводили пчел? Но пчелы на аллеях парка... Удобно ли?

– Нет, нет, – пояснила главврач, – это смотритель парка специально прорубал отдушины, устраивал вентиляцию, чтобы загнившие сердцевины подсыхали и гниль не прогрессировала. Иногда даже выжигали дупла. Своего рода медицина. Деревья сохранялись. Видишь, и до нас дожили.

Незадолго до моего приезда в Песчанке выпал снег и ударил мороз, он спугнул больных, они покинули свои дощатые павильончики и разъехались по домам. Потом опять проглянуло солнце, снег растаял, подсохло, а парк, прихваченный первым морозом, сразу пожелтел, стал ронять листву и засквозил. В косых синих лучах плоско и



параллельно замерли крупные листья молодых клёнов, золотым стеклярусом обвисли ветви берёз, костром пылал осинник. Только нездешние акации по-прежнему густо зеленели. Поэтому, может быть, и казались нездешними. Воздух был настоян на свежей горечи палой листвы и остро-аммиачном запахе грачиного помета.

Парковый пруд засыпало листьями, иные из них плавали на поверхности, другие затонули и просвечивали, как монеты со дна священного колодца.

Уж не такой ли пруд привиделся грустному Баратынскому, когда он вздыхал:

Прощай, прощай, краса природы!  
Волшебного шептанья полон лес,  
Златочешуйчатые воды...

«Златочешуйчатые воды» – какая точность и какой блеск!

Мы шли по аллее, грудили ногами листву; я тянулся рукой к ярким кустам шиповника, накалывал пальцы, и боль, короткая и острая, доставала до сердца.

Вокруг нас резвились, догоняли друг дружку две санаторские собаки. И по тому, как одна из них вытягивалась в прыжке, а потом сильно припадала на передние ноги, в ней угадывалось что-то от породистой борзой. Не от тех ли, знаменитых на всю Россию, дошла до неё капелька крови? В Песчанке так много всего сохранилось...

И я уже невольно вглядывался в идущего по аллее человека. И уже торопился, не сознавая того, к нему навстречу: какой он? О чем заговорит, поравнявшись?..

А он обычный: небольшого роста, лет пятидесяти, щеки и подбородок серебрятся трёхдневной щетиной; одет в стёганный ватник.

– Здравствуйте, – оказал он.

– Здравствуй, Петрович! – приветствовала его главврач. – Тоже гуляешь?

– Да, ходил дорожку поглядеть. Ещё машину асфальта уложили. Заактировать надо.

– Да, заактировать и провести по трудотерапии.

– Вот и я говорю, заактировать надо, – согласился он и ушёл по аллее в ту сторону, откуда пришли мы.

Это старший бухгалтер опустевшего санатория.

В конце аллеи парк неожиданно посветлел: сплошные берёзы. Одни старые, с мокнущими ранами и серой корой в лоскутках белоснежной берёсты, такой же, наверно, древней, как остатки извести на стенах конюшен. Другие – молодые, можно обнять одной рукой.

И старые, и молодые берёзы были изрезаны надписями: «Васин, 1953», «Саша, Красный Кут», «Аня+Миша»... Канавки букв давно зарубцевались и чернели на берёсте, бугрились наплывами, как незаточенные швы электросварки. Надписи, надписи...

– Это больные понаписали, – сказала главврач, – на память. Никак не уследишь.

А мне вдруг припомнилась где-то услышанная угроза: не прощу по самую бёрезку! То есть до могилы, до берёзового креста. Ирония случая! Видно, никто из больных и не подумал, стараясь оставить о себе память, что эти надписи могут вызвать такие грустные ассоциации.

Где ты, Васин? Где ты, Саша из Красного Кута? Где вы, Аня+Миша?.. Что получилось из этого сложения? Любовь, семья? Или это была одна из жадных попыток вырывать у судьбы ещё капельку того, чем она вас обделила? Где вы?..

Может, молодость и старания врачей взяли своё, и раны на ваших лёгких давно зарубцевались, как эти надписи, и вы теперь вспоминаете песчанские месяцы с добром и сожалением, как что-то милое... Да, с добром и сожалением. Я много раз слышал, как люди, прошедшие в молодости войну, вспоминали ту пору с добром и сожалением. Вспоминали не раны и потери, а то, как удалось однажды выпить с товарищами бутылку вина, как привелось, хоть ненадолго, полюбить женщину. Что это? «Что пройдет, то будет мило»? Наверно, этот закон распространяется не только на вещи приятные.

В тот день я впервые подумал о смерти так остро, хоть и коротко, – как укол шиповника. Беда и счастье моего возраста – не думать о смерти. Счастье – что, зачарованные, радуемся цветам, женщинам, своей силе и не омрачаемся сознанием того, что всё это временно; беда – что, зачарованные, робеем высказать самое заветное, ждём повзреления, прихода мудрости, причащения к тайне. Ждём, ждём, ждём... И вдруг однажды до похолодения конечностей, до обморока сознаём, что затомили в себе много прекрасного и правдивого, потеряли, не успев обрести. Начинаем судорожно работать, пытаемся продлить себя, оставить след, сажаем деревья и растим сыновей, становимся неудачниками, тужим и озлобляемся...

В одной умной восточной книге сказано, что человек должен думать о своей смерти всю последнюю треть жизни. Думать не в угоду страху, не в тщетных мольбах о продлении жизни в мире ином, но лишь с тем, чтобы мудро соотнести свои силы с оставшимися днями и, как подобает зрелому человеку, успеть свершить всё то восхитительное и прекрасное, на что он способен.

Но ведь те идеалы, те боги, на которых мы молимся, думали о смерти уже в начале своей жизни: думали юные Баратынский и Лермонтов, думал разбойно жизнелюбивый Пушкин, думал о ней весь свой долгий век Лев Толстой... Да и как угадать, когда перешагнешь порог своей последней трети? В пятнадцать? В двадцать? В тридцать?

А может, все-таки права моя зачарованная купальщица? Кто она? Что она сделала такого, что я через сто лет, такой для неё непредставимый, вдруг так ясно её представил, вспомнил, что она жила, дышала; до мелочей почувствовал её через самого себя: своей кожей ощутил, как щекочет и покалывает её непривычные ступни мелкая галька, рассыпанная по берегу пруда... Может, действительно права она, права своей зачарованностью, красотой, юностью – и это высшая мудрость?

А может, правы безымянные мастера, построившие барские конюшни и дом, которые теперь служат людям страждущим? Они наверняка не задумывались в юности о смерти и были далеки от тщеславных помыслов свершить что-то восхитительное и прекрасное, оставить вечный след; равно как не думали об этом ни смотритель парка, ни землекоп Фрол. Но ведь я вспомнил их, и они оставили свой след!

Так, может, нужно жить нынешним днем, быть красивым и юным, пока молод, и мудро не давать душе позариться на сияющие вершины, не тратить понапрасну силы в попытке их достичь?

Да нет же, нет!

Парк кончился, а во мне всё бродили странные незнакомые мне до того мысли и настроения, так неожиданно меня пленившие. И потом этот день вспоминался часто, и я его благодарил.

Да, мы отдаём и должны отдавать себя времени нынешнему, дням и ночам, суете сует, но у каждого из нас должен быть и особенный день, хотя бы один в году, что-то вроде чистого понедельника, когда на душе легко, когда можно светло подумать о жизни и смерти, о своём возрасте, соотнести свои силы с отпущенным тебе временем и – или мужественно признать, что уже не свершить ничего прекрасного и восхитительного, или же ещё больше утвердиться в своих высоких целях.

Такие дни выпадают человеку обычно в пору срединной осени, когда гулко пустеют дали, сквозят золотые леса, а домашние утки становятся чище пером и пугливее нравом, и у них появляется желание летать.

### **Ветка таволги**

В одной книге я наткнулся на такую мысль: «Человек, если он проживёт хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или оставляет их незамеченными».

Сначала я удивился категоричности этого умозаключения; потом, видимо, желая проверить его правильность, подумал: выходит, и я наверняка уже не раз был близок к смерти? Это показалось невероятным. За все мои сознательные годы я ни разу не попадал ни в автомобильные аварии, ни в авиационные катастрофы; не замерзал, не сходил с ума от зноя и жажды; даже серьёзные болезни меня, слава Богу, миновали...

Тогда подумал: «Может, когда-то, в далёком детстве случилось со мной такое, что я был близок к смерти? Но ведь чтобы осознать эту близость, я должен был уже тогда иметь какое-то понятие и о самой смерти.... А откуда оно могло быть у меня в ту пору, это понятие? Где я мог с ним столкнуться?..»

Мы сидели посреди зелёных весенних займищ на ещё мягкой и прохладной земле. Займища в ту пору использовались как посадочная площадка для почтового самолёта, который прилетал раза два в неделю, всё же остальное время на ровных, как стол, лугах паслись овцы, телята, небольшие табуны жеребят.

Вот и мы сидели на займищах, пасли овец, для которых взрослые никак не могли нанять пастуха. Точнее – сидели не мы. Сидели четверо ребят постарше, лет по тринадцать-четырнадцать. Сидели и играли в лото, иногда покрикивали на нас, мелюзгу: то гнали подальше, чтобы мы не мешали, то приказывали собрать разбежавшихся овец. Овцы ещё не свыклись в стадо, держались подворно, и пасти их было беспокойно. Но мы народ опытный – собрать разбредшихся овец в кучу для нас дело простое: кидай выше фуражку или шапку – и перепуганные овцы тут же завскидывают жирными курдюками и деревянно загремят насохшими на них шалыгами, как будто трясут они не хвостами, а мешочками, в которых «бочонки» для игры в лото, – загремят и собьются в тесную кучу.

Но вот овцы собраны, наше дело сделано. Мы опять присосеживаемся к старшим. Нам интересно глядеть на необычную игру. И потому, наверное, что мы ничего в ней не понимаем, она завораживает нас.

Эту игру с неделю назад привёз в село Паня. Он прилетел из города на почтовом самолёте. Паня наш, сельский мальчишка, но до этого я ни разу его не видел. Несколько лет назад, когда я был совсем ещё маленький, Паня упал с печи и угодил головой прямо на обколотый край большого чугуна, при этом сильно поранил себе щёку. Но щёку зашили, и она заросла, а вот сердце, которое, как говорили женщины, «зашлось» у Пани с испуга, так и не пришло в себя. Образовался какой-то порок, и Паню долго держали в городской больнице. Вернулся он оттуда неделю назад на почтовом самолёте и привёз с собой новую игру лото. И вот теперь старшие ребята заискивали перед Паней, а нас шпыняли и гнали. Но мы всё равно не уходили.

Паня сидел, подогнув под себя ноги, встряхивал полосатый ситцевый мешочек, доставал из него деревянные бочонки, на которых были вырезаны цифры, и загадочно произносил:

- Дед!
- Стульчики...
- Барабанные палочки...

После чего даже обычные пятёрки и шестёрки казались таинственными.

Остальные игроки внимательно слушали Паню и раскладывали на картонные листы сухие овечьи орешки до тех пор, пока кто-нибудь не вскрикивал радостно:

- Кончил на среднем!

Или:

- Кончил на верхнем!

Но ничего на этом не кончалось. Паня собирал бочонки в мешочек, встряхивал его, гремел, как овца шалыгами, и опять доставал бочонки.

Меня тоже очень интересовала эта игра. Но я всё чаще и чаще вглядывался в самого Паню. Что-то мне чудилось в Пане такое, что и теперь я вряд ли смогу назвать словом. Был он не похож на нас. Мы – загорелые, лупоглазые, с облупившимися носами и

первыми цыпками на руках и ногах – думали (а это видно было по глазам) о немногих и вполне определённых вещах: как бы что-нибудь съесть повкуснее, да теперь ещё вот завладеть бы такой же, как у Пани, игрой. А у Пани лицо серое, одутловатое, покрытое мелким пушком пепельного цвета; глаза сидят глубоко и смотрят из глубины то ли тоскливо, то ли диковато, и есть в них что-то, нам совсем непонятное. На левой щеке, под скулой, белый, узловатый и жёсткий шрам с белыми тоже поперечинками от швов. Мне почему-то казалось, что под тонкой Паниной кожей спрятан обглоданный рыбий позвоночник... Но больше всего меня поражали Панины руки! Были они удивительно длиннопалые, бледно-жёлтые, с хорошо заметными синими жилками. А ногти, ногти! – невообразимо чистые, на мизинцах длинные и загнутые, прозрачные...

Я угадывал, что Паня нёс в себе что-то неведомое и страшное, чего ни в ком из нас не было; я боялся Паню, но вглядывался в него всё чаще и чаще...

Больше Паню я не видел.

Не помню, через сколько – через день, два, пять – я услышал, что Паня умер. Я сразу вспомнил Панины глаза, пепельный пушок, шрам, похожий на обглоданный рыбий позвоночник, прозрачные длинные ногти на мизинцах...

Не помню, случайно или умышленно, но вскоре я оказался в доме, где жили Панины родные, и где раньше я никогда не бывал. Скорее всего, я пришёл туда умышленно, потому что искал Паню. Мне казалось, что умер – это значит не может выходить на займища, бегать с нами по горам и лесам, пасти овец, но может сидеть дома и доставать из полосатого мешочка бочонки лото или хотя бы просто лежать на столе под белым полотном, как лежал когда-то мой дед.

Я искал Паню, заглядывал на печь, в чулан, даже потрогал плохо застеленную кровать – может, под одеялом? – Пани нигде не было. Но я еще не догадывался, что его может не быть *совсем*.

Я искал Паню, не находил, но всё ещё надеялся найти, пока не увидел в пустом углу ситцевый мешочек. Он лежал на полу, был развязан, и из него выкатились несколько бочонков...

Кажется, именно в тот момент я и понял, что умер – это исчез навсегда.

Теперь этот полуистлевший в памяти образ неожиданно заставил меня вспомнить ещё несколько случаев из моего детства. Это были как раз те случаи, когда я действительно был близок к смерти.

Мне припомнился жаркий день далёкого-далёкого лета. Мы, шумная ватага ребятишек, шли по дну глубокого оврага. Под нашими голыми пятками поскрипывал слежавшийся песок. Песок этот застыл, где крупной волной, где мелкой рябью, повторив собой когда-то бежавший по дну оврага поток воды. Лишь кое-где из песка выглядывали разных размеров голыши, да в колдобинах полопалась глянцевая корка высохшего ила и скрутилась в трубочки, показывая серую, как у мать-и-мачехи, изнанку. По песку идти было нелегко, но зато безопасно, не то что по берегу оврага – там жёсткая стерня после сенокоса, татарник и прочие колючки.

Иногда кто-нибудь из нас ловко карабкался по склону оврага, выдёргивал луковицу-другую дикого чеснока, жевал и корчил от горечи рожи. Или все бросались ловить юркую ящерицу; падая на неё, бились друг о друга лбами, а ящерица всякий раз успевала ускользнуть и глядела на нас откуда-нибудь со стороны, мягкое горлышко её быстро колыхалось, как будто она тоже задохнулась от жары и от игры с нами.

Но всё это – и дикий чеснок, и неуловимая ящерица – лишь попутные развлечения. Главной нашей целью были колючие бобы.

Уже взрослым я несколько раз брался за определители растений, но так и не нашёл в них названия того кустарника, плоды которого мы называли колючими бобами и которые считались чуть ли не самым вкусным нашим лакомством. Рос этот низкий курчавый кустарник на пологих северных склонах в верховье большого оврага. Кустарника было немного – три-четыре небольших кулиги, – а охотников до колючих

бобов полным-полно, все старались ухватить пораньше, обрывали их ещё зелёными, поэтому мне так и не привелось увидеть бобы зрелыми. В пору же наших набегов бобы походили на мелкие ещё незрелые абрикосы-жердели. Только ворс на их кожице был жёстким и колючим, как стекловата. Если кто по неопытности насыпал бобов за пазуху, то потом несколько дней ходил, почёсывая сыпью покрывшийся живот. Эти самые бобы дома отваривали в воде, колючая кожица с них сползала, обнажая круглые твёрдые косточки. Косточки прожаривали на противнях, потом кололи молотками и ели горько-пряные ядра...

До заветного места было ещё далеко, когда мы огибали высоченный каменный утёс, который дыбился отвесной стеной на повороте оврага, и высматривать тут бобы никто, конечно, не думал. И я не думал. Но я нечаянно глянул на уступ отвесной стены – и замер.... Там, на высоте метров пяти-шести, росли два побуревших на солнцепёке кустика! Они были невелики, но густо увешаны бобами. Никто из ребятишек их не заметил, и я, сделав вид, будто копаюсь у подножья утёса в каменных осыпях, подождал, пока мои спутники скроются за поворотом. Я задумал обобрать бобы тайком, потом догнать ребятишек и ошарашить их своей находкой.

Ребятишки ушли, я, не долго думая, стал карабкаться по отвесной почти стене. Снизу казалось, что до уступа рукой подать. Но меня обманула высота утёса: вскоре я начал уставать, а до кустиков было ещё далеко. К тому же утёс состоял из камня-плитняка, снаружи камень был размыт дождями, выдут ветром и расколот солнцем. Серые плитки разной толщины лежали друг на друге свободно, ничем не скреплённые, как стопки черепицы. Нужно было внимательно выбирать, куда поставить ноги, за что уцепиться руками. Плитки каждую секунду готовы были осыпаться, а вместе с ними мог свалиться и я. Но мне так хотелось похвастаться добычей, бобы, побуревшие на солнце, были так уже близко, что я и не думал отказываться от своей затеи и не догадывался, что меня ждёт ловушка.

Я карабкался, прижимаясь к раскалённому камню, солнце жгло мне спину и затылок, а глаза уже начинал заливать едучий пот. Но я лез, нечаянно сорил вниз мелким камнем, иногда сбрасывал его нарочно – чтобы не мешал – и слышал, как он щёлкал внизу о камни.

И может быть, всё обошлось бы; но когда я держался уже за край уступа и жёсткие листья кустиков касались моего лица, а бобы маячили перед самыми глазами, я решил передохнуть и от нечего делать глянул вниз. И тут же присох к стене.... Высота показалась огромной. У меня даже закружилась голова. Я сразу же начал нащупывать ногой опору ниже, готовя себе путь к отступлению. Я ещё не отказался от бобов, не забыл про них, но уже потерял уверенность, мне нужна была опора. Я пытался поставить ногу вслепую, на ощупь, потому что глядеть вниз было неловко и страшно, однако нога опоры не находила. Плитки осыпались, осыпались, и, в конце концов, я уже держался почти на одних руках. Ничего не оставалось, как подняться на уступ.

На уступ я вскарабкался, но он оказался таким узким, что мне не удалось даже развернуться и стать к утёсу спиной. Ноги мои дрожали от усталости и страха, а руки – раскинутые крестом, будто я хотел обнять необъятную грудину утёса – бессмысленно впивались в каменные выступы. Я осторожно поворачивал голову и заглядывал через плечо вниз. Там топорщились острыми углами груды когда-то свалившихся с утёса камней. И я с ужасом понял: если сорвусь – упаду прямо на эти острые камни.... А сорвусь я обязательно, при первой же попытке спуститься.

Вот тут-то и предстал перед глазами Паня: белый узловатый шрам, похожий на обглоданный рыбий позвоночник, глубокие тоскующие глаза, жёлто-белые руки с длинными прозрачными ногтями на мизинцах...

Захотелось кричать, звать на помощь ребятишек, но в тот момент я, видимо, ещё не полностью осознавал безвыходность моего положения, ещё на что-то надеялся, поэтому кричать не стал. Да и чем бы они мне помогли?..

Теперь я глядел только вверх. Там, на фоне побелевшего от зноя неба, чуть заметно покачивалась длинная и гибкая ветка таволги. Я знал, как крепко держится таволга за землю. И полез...

Лез я долго и медленно; когда рукам не за что было уцепиться, впивался ногтями в мелкие трещины, и на сером раскалённом камне оставались тёмные следы крови. Кровь высыхала быстро, как на промокашке. Несколько раз я хватался за плитняк зубами, и до сих пор помню, как язык прилипал к горячему и сухому камню. Почти так же, как когда-то прилип к раскалённому на морозе дверному пробую.

Потом я совсем обессилел, какое-то время держался на стене утёса просто чудом, и когда перед глазами опять появился Паня, закричал.

Ребятишки прибежали быстро. Сначала они сгрудились у подножья утёса, возбуждённо загалдели, стали давать советы и даже посмеиваться. Но я прилип к стене неподвижно, на вопросы и советы не отвечал, и они озабоченно затихли. Слышно было только, как те, кто посопливее, шмыгали носами.

Я слушал, но так, вполуха: всё это – и сами ребятишки, и их советы, и озабоченное шмыганье носами, даже то, что я вишу между небом и землёй и готов в любую секунду сорваться – всё это вдруг показалось мне неважным. Страх мой то ли прошёл, то ли я успел к нему привыкнуть, только думал я теперь на удивление спокойно. Мне стало очень грустно от мысли, что я не увижу больше этого неба, не смогу наломать душистой таволги и не попробую больше этих колючих-колючих бобов. Многого, многого уже не смогу сделать. И если даже я не разобьюсь сразу, то у меня приключится какой-нибудь порок, и меня, как Паню, увезут в городскую больницу и продержат там долго-долго. Вернусь я оттуда бледно-жёлтый, с глубокими печальными глазами, с длинными прозрачными ногтями – и вскоре исчезну совсем...

Думал я именно так, и думать так было приятно – я устал; через минуту-другую я непременно свалился бы. Но ребятишки обогнули утёс и с пологой стороны вскарабкались на его вершину. Я их не видел за выпуклой грудью утёса, но они что-то там делали, и на меня сыпались мелкие камешки. Несколько раз мне больно ударило по голове.

Я опять стал карабкаться, но уже не испытывал ни страха, ни боли в изодранных пальцах. Во мне вдруг появилась уверенность, что я обязательно доберусь до гибкой ветки таволги, а уж она меня спасёт.

И я добрался. Намотал её конец на руку и почувствовал себя спасённым.

Теперь я увидел и ребятишек: все как один голые, они выстроились на самой кромке, и двое старших стравливали вниз связанные цепочкой штаны.

Потом я лежал возле самого обрыва на сухой и пыльной траве и плакал. Плакал от усталости, от стыда, от боли в кровоточащих пальцах. И ещё – от радости, что увижу это небо ещё много-много раз, что смогу наламывать таволги хоть целые вязанки, что смогу собирать и есть колючие бобы, как все, – и у меня не будет в сердце никакого порока...

Весь день, да и потом ещё некоторое время, жил я в каком-то странном, обновлённом мире. Василёк в вызревшей ржи казался мне необычайно ярким, воробьята в береговых норах пищали удивительно громко и весело, а вода в пруду, где мы потом купались, была такой тёплой, такой ласковой, что я, плавая на спине, буквально засыпал...

Другой случай был двумя годами позже. И хотя на этот раз всё произошло значительно быстрее и ничто, похожее на Паню, не успело прийти мне в голову – это был тот самый случай, когда человек «переступает порог своей гибели», – а радость от того, что смертельная опасность миновала, была ещё более осознанной и полной.

Дело было среди зимы. Погода в ту пору стояла удивительная: неожиданно, после сильных морозов, в феврале заладили тёплые проливные дожди. Вода в реке быстро прибыла, взломала полуметровой толщины лёд и поставила на дыбы огромные икры. Образовались заторы и целые торосы.

Потом так же неожиданно, в одну ночь, весь этот ледовый хаос накрепко сковало морозом, и вода быстро пошла на убыль. Дня два на реке стоял оглушительный грохот – рушились потерявшие опору ледяные дворцы, только голубые искры летели в разные стороны.

Когда грохот утих, мы отправились изучать сказочные нагромождения и сразу нашли себе интересное занятие. Вода, отступив, оставила во льдах лабиринты гладко выточенных ходов и пещер. Вот мы и пустились изучать эти лабиринты. Протиснувшись в щель, мы проползали по скользким норам иногда десятки метров. В самых узких местах ходы бывали затянуты ажурными ледяными сетками – видимо, вода в этих местах не торопилась уходить и её успевало прихватить морозом. Но стоило эту преграду ткнуть кулаком или палкой – она сразу рассыпалась на мелкие кристаллики льда. Когда кулаком или палкой работать было неудобно, мы тыкались в ледяную сетку головой и продолжали ползти дальше. Было в этих норах и пещерах сказочно красиво: через толщу льда проникал слабый голубовато-зелёный свет, в этом свете тепло играли гранями крупные и мелкие кристаллы льда, а наши разгорячённые щеки ощущали постоянный и неподвижный холод.

В одной из таких вылазок я оказался первым. За мной следом устремились ещё несколько ребятшек. Они слегка подталкивали меня сзади, и ползти было легко. И вот, когда в очень узкой и покато́й норе передо мной оказалась узорчатая ледяная сетка, я, подталкиваемый сзади остальными, успел только поглубже нахлобучить шапку и – боднул сетку головой.

Вода обожгла мне лицо, шею, плечи. Я отчаянно барахтался, пытался ухватиться за скользкий, вылизанный водой лёд, а сзади меня толкали всё глубже и глубже...

Очнулся я дома на кровати. Надо мной хлопотали бабушка и мать. За столом сидел закутанный в тулуп наш школьный водовоз дядя Яша по прозвищу Боксёр и шумно пил чай из большой тарелки. Перед печкой была развешана его мокрая одежда. Дядя Яша, отдуваясь, вспоминал крещенские купания.

Меня долго тошнило, а потом вдруг стало хорошо-хорошо. Я с какой-то изначальной полнотой ощутил вдруг ласку маминых и бабушкиных рук, пуховую мягкость постели и удивительную яркость красок на картинках, прилепленных над кроватью. В доме было жарко, на пол падали сквозь протаявшие окна жёлтые пятна солнечного света, и пол казался сухим и горячим. Тонко пахло только что заваренным чаем...

Меня неудержимо потянуло в сон.

Я слышал ещё, как бабушка втолковывала маме, что после испуга вредно давать мне спать; слышал, как они меня тормошили, но ничего уже не мог с собой поделать...

С тех пор прошло много лет; теперь я пытаюсь припомнить ещё хотя бы один случай, когда бы я воспринимал окружающий меня мир так же остро и полно, как тогда, на вершине раскалённого утёса или после ледовой купели, – и не могу припомнить. И странно! – я жалею, что их не было.

Живо сохранились в сознании многие события, картины, детали, но все они лишены той яркости, аппетита, вкуса к жизни.

Правда, совсем недавно, уже взрослым, при необычных обстоятельствах, я всё же на мгновение обрёл ту, первозданную свежесть ощущений. И опять это было связано с угрозой смертельной опасности, хотя и не совсем реальной...

Три хулигана подтащили меня к высокому дощатому забору, прижали к нему спиной, развели мне руки крестом и прихватили их в запястьях верёвками. Распяли...

Два хулигана исчезли, а третий, с неуловимо знакомыми чертами лица, отступил от забора метров на десять и достал из-за спины большой нож с длинным блестящим лезвием и тяжёлой чёрной рукояткой. Улыбаясь, подкинул его, ловко поймал за лезвие и, коротко размахнувшись, метнул в мою сторону. Сильный чёткий удар, – и некоторое время слышно, как потрескивает, раздаваясь, пересохшая древесина. Нож вонзился чуть выше

кисти моей правой руки. Он почти касается лезвием указательного пальца. Я чувствую его холодок.

Испуг запоздало обжигает мне сердце, но тут же проходит.

А хулиган с неуловимо знакомым лицом достаёт из-за спины второй нож. Сверкнуло лезвие, и нож раскалывает доску уже чуть выше локтя... Третий втыкается у самого плеча... Четвёртый – у основания шеи, там, где часто-часто пульсирует жилка...

Меня охватывает ужас!

Теперь я понял – хулиган, как циркач, решил оторочить меня ножами. Но это же попытка! Такое, помнится, было в обычае у каких-то дикарей...

На лбу у меня выступил пот.

Но я соображаю: главное для меня сейчас – не дёргаться, не шевелиться. Так, кажется, учил своего сынишку Вильгельм Телль, когда готовился сбить стрелой яблоко с его головы.

Я прижимаюсь затылком к шершавой доске и закрываю глаза.

Тут же, шевельнув ветром волосы на моём виске, возле самого уха вонзается пятый нож. Он вибрирует и гудит, как натянутая струна. Шестой входит в доску над самой моей макушкой...

Я задыхаюсь от страха.

А ножи вонзаются теперь уже с левой стороны: у виска, у основания шеи, у плеча, у локтя, у кисти... Я опять чувствую холод лезвия указательным пальцем, только теперь уже указательным пальцем левой руки.

Я боюсь открыть глаза.

Откуда-то появились люди – зрители, болельщики. Их много; наверно, целый цирк, целый стадион. Я слышу, как они гудят, ахают, – словно на футбольном матче при острых моментах, – ахают при каждом новом ноже, и не поймёшь: то ли ахают облегчённо, то ли разочарованно.

А хулиган-циркач уже оторачивает левую руку снизу: удар – и нож гудит чуть ниже мизинца, удар – у самого локтя, ещё удар – под мышкой...

Холодная струйка скатывается по левому боку к пояснице. Что это? Кровь? Нет – холодный пот...

Кто-то из болельщиков, совсем рядом, шепчет соседу:

– Следующий нож он должен воткнуть у пятого ребра. Где сердце. Это самый сложный бросок. Чуть что и....

Стадион затихает.

Я больше не могу! Я больше не могу – я открываю глаза...

Хулиган волнуется. Он – спортсмен. Но вот сейчас.... Сейчас...

Бросок!..

И что-то у него срывается.

– Ма-а!..

Стадион ахает и заглушает мой крик.

Я очнулся среди ночи. Сначала слышал только, как гулко колотилось сердце, да ещё показалось, будто волосы на голове потихоньку шевелятся, укладываются на места.

Но тут же нахлынула радость от сознания, что всё это – лишь сон, древнейшее кино – и только! Рядом легко и ровно дышала жена, и я, деля с ней остатки страха и радуясь своему возвращению, тихо поцеловал её в лоб.

Потом распахнул окно и сел на подоконник.

Светила полная высокая луна. В её свете сказочно белело оцинкованное железо крыши старинного дома напротив. На лепном фризе дома сонно бормотал голубь. А за домом, в городском парке звенели, звенели, беспрестанно звенели соловьи; волнами наплывал из парка остуженный ночной прохладой запах цветущей сирени.

Господи, думал я, как хорошо, что всё это был лишь сон!



Это правда: человек, если он проживёт хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели. Пусть даже во сне. Какая, собственно, разница.... Но жизнь почти всегда успевает подать ему гибкую ветку таволги, чтобы, уцепившись за неё и почувствовав себя спасённым, человек отдышался и вдруг увидел мир обновлённым, ярким, упоительным...

Я. Удин

## СОЛНЦЕ ШЕПЧЕТСЯ С ТЕНЬЮ

### Мальчик на валуне

В центре села стоит массивная каменная церковь. Стоит на зелёной поляне меж тремя исполинскими чинарами. У подножия церкви, в густой прохладной тени, пасутся овцы с ягнятами, кротко щиплют травку. Рядом с поляной, вдоль тыльной стены церкви, лениво, как бы нехотя течёт речка, посреди речки громоздятся огромные камни, на одном из камней, на плоском мшистом валуне, замер мальчишка с кувалдой в руках – рыбу ловит. Он ловит рыбу по-своему: поплевав в ладоши, вскидывает кувалду над головой и что есть силы бухает о валун, потом, вытянув шею, зорко высматривает, где всплывёт вверх белым брюхом оглушённая рыба. Окрест поляны, на почтительном, однако, отдалении от церкви, стоят дома. Усадьбы. Если же запрокинуть голову, то высоко над поляной, над церковью, над тремя чинарами, высоко над этим божьим миром можно увидеть величаво парящего орла.

Чудный летний день – тишина и покой разлиты кругом. А в ближайшем подворье, под открытым небом, на самом припёке, сидит дряхлый старик с выцветшими, водянистыми глазами на измождённом жёлтом лице, сидит давно и молча, не шевелясь. Возле него – врытый в землю стол, на столе – графин красного вина сорта шалав, ломоть хлеба, ноздреватый кусок овечьего сыра, хлипкий пучок зелени, нетронутые, прикрыты лёгким полотенцем. Чуть поодаль, под верандой двухэтажного дома, затаилась рыжая кошка и, задрав хищную головку, плотоядно облизываясь розовым язычком, смотрит на ласточкино гнездо, чуя вековечным своим инстинктом, что едва оперившиеся птенцы, бывает, выпрыгивают из гнезда, желая стать на пока ещё слабые, неумелые крылья – и беспомощным комочком шмякаются оземь.

И, слов нет, совершенно ясно, что у этой поляны, у этих чинар, у этого старика, погруженного в свою тягучую последнюю думу, у этой кошки, жаждущей горячей крови, у этих окрестностей должен быть свой певец, летописец, и он есть, без сомнения, но он вдали от этих мест, что называется, за тридевять земель, как в сказке, и он по сто раз на дню и по тыщу раз за ночь, считай, умирает, изнывая от тоски, от любви и нежности к этой поляне, к этим могучим чинарам, к этой плотной тени и сочной травке, к этим шершавым камням древней церкви, к мальчишке, заинтересованно замершему с кувалдой над головой.

И там, где теперь он живёт, совсем другая кошка с ломтиком хлеба в зубах ходит по длинному коридору конторы и тоскливо мяукает, разыскивая своих котят, которые странным образом в одночасье куда-то подевались, исчезли, и вот она мечется от двери к двери, скребется коготками, ей открывают, впуская, но вскоре с истошным криком просится обратно, горемычная, с запавшими боками, с мокрыми, истекающими глазами, всё мается в поисках детёнышей, кочуя из кабинета в кабинет, в одном из которых сидят двое, мужчина и женщина, с самого утра сидят друг против друга и, по всей видимости, ещё ни слова не проронили.

У них не очень внятные, надо сказать, отношения, на посторонний взгляд чистые вроде, не запятнанные пока чем-то явным, однако неясные, с туманцем, не утоляющие

любопытства, что раздражает многих. Женщина весьма красивая, полнотелая, рослая, стройная в своей полноте, всегда изысканно и со вкусом одетая, и сама знает, конечно, что хорошенькой женщине на службе сходит многое, появившись утром на работе, обычно без дела, празднично сидит перед своим тихим увлечением и молчит часами. Он тоже молчит. Они молчат, но между ними, несомненно, что-то происходит, что-то живое, трепетное, сладостно волнующее обоих и в то же время, может статься, пугающе тёмное, вероломное, способное омрачить будущее, исковеркать судьбы, поскольку как она, так и он давно обременены семьями, детьми, чередой прожитых в привычных хлопотах лет: обоим изрядно за тридцать.

### **Если не полюблю...**

Мужчина в дубовой кадке давит виноград. Тугие гроздья с хрустом и чмоком рушатся под его ступнями. Рядом полуголый младенец сидит на коврике – о чём-то своём гулит. Тут же молодая женщина ощипывает курицу. На веранде работает телевизор – транслируют футбольный матч. На стене веранды висят старинные часы. Они давно не ходят – маятник замер, застопорив маленькую стрелку на 9, большую на 4.

Не знаю – чем мила эта картина. Но знаю, что люблю её. Вообще, если я не полюблю то, что собираюсь писать, не полюблю страстно, трепетно, жадно, как-то язычески, то не стоит и браться – ничего путного не выйдет. Не могу писать без любви.

### **Погожим осенним днём**

Погожим осенним днём шёл по пустынным городским улицам, шагал себе медленно, прикидывая в голове какие-то шальные образы и в то же время ясно слыша, как с деревьев слетают одинокие листья, падают, перестукиваясь тонко, коротко, когда увидел длинную вереницу детей в сопровождении женщин в белых халатах. Дети шли по противоположному тротуару, шли строем по два, взявшись за руки, и водили головами по сторонам, оглядывались, улыбались, жестикулировали, казалось, переговаривались, но ты не слышал их голосов. Было воскресенье, улица была совсем без движения, безлюдна, тиха, и по тому, как оживлённо вели себя дети, шум несусветный должен был стоять. Но ни звука не слышал ты. Тебя удивила необычность подобной тишины, ты остановился, встревоженный, тряхнул головой, как бы сгоняя одурь, однако ничего не изменилось. Несколько мгновений ты как-то ошеломлённо смотрел на безмолвный строй постепенно удаляющихся детей, и, наконец, догадался: да они глухонемые!..

### **В мастерских художников**

Двое художников пели под гитару. Не помню ни слов песен, ни мелодии, только впечатление: как славно, как дивно поют! Долго сидели, выпивали, смотрели картины, вполголоса переговаривались, а они – пели!.. Потом к ним, к художникам, пришли ещё двое: вовсе не художники, не писатели, не артисты, не музыканты, а... бизнесмены, солидные, важные, из крупной какой-то фирмы, с дорогой водкой, закусками, оказалось, тоже любят попеть, чуток выпьют – и поют: один чистым глубоким басом, второй – лёгким медовым тенором. И так – каждую субботу. Изумительно: двое преуспевающих людей по выходным срываются к художникам попеть...

### **Старик**

В отечественную войну он был командиром взвода в партизанском отряде. И, спустя полста лет, в 1992 году, умирая, поимённо перечислил весь свой взвод – и скончался.

А с норовом был старик. Говорят, он как-то гулял по своему саду и увидел на верхушке грушевого дерева соседского паренька. Не останавливаясь и даже не поднимая головы, приказал:

– Ну-ка, мигом слазь и догони меня, влеплю пощёчину, а то мне некогда ждать тебя, по делу иду!

И тот, говорят, совсем взрослый парень, покорно слез и догнал старика. И схлопотал звонкую оплеуху. Ещё и выругал, говорят, старик его:

– Что ж ты такой жалкий, поганец? – сказал. – Разве с такой хлипкой душой лезут в чужой сад?

Когда-то стариков было трое. Часто сидели за одним столом в чайхане. Все очень старые, они были разные, конечно, но одно в них было общее: старческая успокоенность и вытекающая отсюда чистота и опрятность как обличий, так и помыслов – и это в их годы было куда важнее, чем индивидуальные особенности каждого.

Я восхищался ими.

### Тосты

Гия грузин. Стоим с ним у прилавка – грампластинки выбираем. Решили взять «Лебединое озеро» и Ойстраха концерт для скрипки с оркестром Чайковского же. Рядом пара. Он и она.

– Ой, мы тоже берём «Лебединое...» – говорит она. – И Ойстраха. – И вкрадчивым шёпотом обращается ко мне: – Скажите, а это хорошие вещи?

– Да, – говорю, – неплохие.

– Правда? – допытывается она дальше. – Не шумные?

– Нет, не очень.

– Знаете, мы для грудного ребёнка берём, – солидно уточняет он. – Чтоб, значит, спал под классику. Или, скажем, рос под классику.

Я понимающе киваю. Гия интересуется: о чём это они? Я объясняю. И спрашиваю его:

– А ты что слушал в младенчестве?

– Я? – улыбается он. – Тосты слушал. Тосты. Что ещё может слушать ребёнок в простой грузинской семье?

### Первый снег

Ты сидел за столом, не отвлекаясь, увлечённо колдовал над фразой, желая нащупать свою манеру, подстегнуть ритм и устремиться к смутной, призрачной цели, к той черте, где звучащий в тебе голос, то замирая, утишаясь до шёпота, то взмывая, уплотняясь, пока ещё водил твоей рукой, должен, исчерпав, избыв себя, оборваться, и, случайно подняв глаза от бумаги и взглянув на часы, ахнул про себя: сколько времени пронеслось, прошелестело сквозь пальцы и тебе так и не удалось ухватиться за хвостик накануне угасшей интонации. Ты ненадолго замер, как бы застигнутый врасплох, потом, уже остывая, отходя, махнул рукой, оделся и вышел на улицу.

А там – снег! Первый в этом году. Обильный. Кругом бело. Пушисто. Снуют радостные люди. Всем встречным улыбаются. Дети играют в снежки, барахтаются, повизгивая от удовольствия и пыхая весёлыми клубками пара. Всем хорошо, всем так здорово, точно все долго ждали от жизни что-то дивное и, наконец, дождались – и ликуют, беснуются от счастья.

### Шашлык–экспромт

Он пригласил ребят поросёнка резать, а день был хоть и осенний, но тёплый,

солнечный, зарезали, значит, поросёнка, освежевали, разделали, хороший был поросёнок, молоденький, совсем без сала, одно только мясо розовое, нежное, и они решили шашлычком из парной поросятины полакомиться, дружно соорудили из сухих, проветренных дровишек костёр в ореховом саду за домом, два строительных камня-кубика подтащили, установили по бокам костра, штоф вина вынесли из подвала, банку солёных огурцов, хлеба, большие чайные стаканы нашли – ни матери, ни жены дома не было, чтобы винные попросить, подкатали-подволокли к огню четыре круглых, обросших мхом, ровной шубой, ольховых чурбака под сиденье, а пока всем этим занимались, дрова прогорели, превратились в груды раскалённых древесных угольев, подернутых серебристым пеплом, и они нарезали ореховых прутиков, стали нанизывать поросятину на эти прутики и рядом выстраивать на камни-кубики, а один из них взял кусок фанеры – крышку от посылочного ящика и плавно так, мерно стал обмахивать им над угасающим, но живым ещё жаром, чтоб и хорошо обжарилось мясо и дымом не пропахло, потом они разлили вино по стаканам, расселись вокруг костра и выпили, и разговелись нежнейшей, истекающей во рту поросятиной, потом опять выпили и опять закусили, потом ещё и ещё, и с каждым разом мясо и вино казались всё вкуснее и вкуснее, и скоро все они, конечно, захмелели, и жизнь им показалась безумно прекрасной, и стали они – с детства приятели, одноклассники, односельчане, удины – признаваться друг другу в любви и преданности, стали обниматься и лобызаться, потом вино кончилось, и они ещё сбегали со штофом в подвал, потом подогнали чью-то машину вплотную к месту гулянки, включили музыку и, раскинув руки, закружились, весёлыми, всё и вся любящими, невиданно добрыми орлами закружились вокруг костра, вокруг штофа с вином, вокруг прутиков с мясом, кружились, летели, парили и улетели в никем не мереную даль, а когда вернулись, когда он очнулся, когда на другое утро проснулся он в своей постели и мать, грозно подбоченясь, выросла пред его ещё неясным, мутным, туманным взором, оказалось, что от двухпудового поросёнка остались одни мослы, голова, ножки да распяленная меж стволами орешины шкурка.

### Танец в ночи

Ты встал в три часа ночи, написал абзац, который тебе понравился, что случается крайне редко, выпил несколько чашек крепкого чаю с клубничным вареньем, со вкусом, не торопясь, выкурил сигарету, после побрился, кстати, с удовольствием, наслаждаясь, что тоже редкость, после дважды кряду выпил по 50 г. коньяку, закусил, тем временем на подоконнике негромко играло радио, лилась легкая, задорная мелодия, жена с ребёнком спали себе за стенкой и им снились, наверное, какие-то сны, и тебе было хорошо, и ты исподволь стал дрыгать ногами, перебирать ими, и так, движенье за движеньем, жест за жестом, ты увлёкся и начал танцевать в одиночестве, стараясь не шуметь, не топать, ты выделял всякие такие штучки, и это полшестого утра, когда город ещё спал или только просыпался, потом вдруг спохватился, мысленно окоротил себя и сник, устыдившись. И, сев за рукопись, немного посидел в задумчивости и услышал, как издали, мягко потрескивая, точно палая листва в погожую осень, зарождается вроде бы шальная фраза. Скоро она легла на лист бумаги:

«Он с утра ловил кур и шупал, какая с яйцом, а какая, значит, без».

Да. Что же дальше?

«Он сельский учитель. Он каждое утро перед школой проводит в курятнике. У него закопчённое, морщинистое и крепкое, как грецкий орех, лицо».

И – всё.

### Такая чуткая тишина

Как хорошо, когда ранней весной сладко пахнет прелью от лежалой прошлогодней листвы, и страшно озабоченные птицы летают с прутиками в клювах – ладят гнёзда. Ещё

несколько дней, и деревья взорвутся новой жизнью. А кизил уже всюду цветет – кизиловое деревце вспыхнуло ярким жёлтым пламенем.

Ещё лучше, когда со временем огромный тополь так обрастает пухом, что не видать листы, и при малейшем дуновении облетает беззвучным роем. А неподалёку, в густой зелёной чащобе, возле кротко бормочущего родничка, на расстоянии вытянутой руки – гнездо горлицы: решётка из тонких сухих прутиков – и два хрупких белых яйца прямо на голых прутиках. А кругом такая тишина. Такая чуткая тишина.

### **Рубка дров**

Мой брат школьный учитель, и понятно, что живёт бедно, скудно, и чтобы как-то поправить свои дела подрядился по вечерам рубить дрова для шашлычной на окраине города. Он рассказывает, что однажды, когда он как обычно рубил дрова, двое мужчин, крупных, дородных, хорошо одетых, сидели за столом неподалёку, ели шашлык и выпивали. Они долго наблюдали за тем, как он орудует топором, наблюдали, наблюдали, и вдруг один из них встал.

– Дружище, где ты научился так ловко топором махать? – спросил он, подойдя ближе. – Я и не видел никогда, чтоб так красиво дрова рубили. Кино какое-то, ей богу. Загляденье.

– Да в селе я жил до сорока лет, – ответил брат. – В глухом кавказском селе – как не научиться.

Но мужчина всё никак не мог успокоиться. Мужчина пригласил брата за стол, и они продолжили беседу.

### **Кругом кричали дрозды**

Был вечер, сгущались сумерки, кругом кричали дрозды: тер-ре-чок-чок-чок!.. Шли с братом из леса, у меня за плечом болталось ружье, я убил несколько горлинок, они мягко стукались о моё бедро, брат всё приставал ко мне:

– Дай стрельнуть, дай хоть пуляшного дрозда убить.

Наконец я снял с плеча ружьё, он спешно выхватил его, взвёл курок и ринулся, чуть согнувшись, скрадываясь, к густым ежевичным зарослям, где трещало и чокало множество дроздов, и тут я увидел в шагах десяти от него, прямо перед ним, зайца, беспечно сидевшего на задних лапах. Я замер на месте, боясь спугнуть косога, брат мой тоже заметил зайца, но вместо того чтобы выстрелить, обернулся ко мне и воскликнул удивлённо и обрадовано:

– Глянь, заяц! – и лопоухий, конечно, сиганул в ежевичные заросли и исчез. Брат лишь запоздало и слепо пальнул вслед.

### **Дочке исполнялся год**

Дочке исполнялся год. Так сложились обстоятельства, что перед тем полгода она жила у бабушки в другом городе. Каждый месяц мы ездили к ней, и она вроде не очень скучала без родителей. Но вот приехали ко дню рождения. Рано утром зашли в квартиру, без шума, на цыпочках зашли и смотрим: сидит на горшке посреди дивана, голенькая, растрёпанная со сна, как увидела меня, надула губки, сказала слабым голоском:

– Па-па.

И тихо-тихо заплакала. И сердце моё чуть не разорвалось от горя.

### **Мрак**

Двухлетняя девочка открывает случайно подвернувшуюся книгу на форзаце и,

ткнув пухлым пальчиком в чистый лист бумаги, говорит:

– Ночь. – Чуть помолчав, уверенно и четко повторяет: – Это ночь.

– Почему ночь? – возражаешь ты. – Это же белый лист бумаги.

– Ночь! – упрямится она, капризно выпятив губки. – Это ночь.

И, старательно перевернув страницу и водя пальчиком по крупному шрифту титульного листа:

– Бук-ки.

Еще перелистывает, видит портрет автора:

– Дядя.

Потом, перелистывая дальше, над каждой страницей произносит:

– Бук-ки... Бук-ки... Бук-ки...

Так, перебрав довольно много, натывается:

– Кайтинка.

Наконец, захлопнув книгу, снова отворачивает обложку, вернувшись к форзацу:

– Это ночь.

И долго, пытливо смотрит тебе в глаза, и ты с удивлением начинаешь понимать, что чистый лист бумаги, не заселенный ни буквами, ни картинками, она попросту считает лишённой всяческой жизни ночью, мраком, невзирая на очевидную белизну листа.

### **Вся такая трогательно хрупкая**

Дочь во втором классе. Я все ещё провожаю её в школу. Но последнее время за квартал до школы она говорит:

– Пап, дальше я одна пойду. Пусть все видят, что я одна хожу в школу. Лад, пап?..

Я соглашаюсь. Отдаю ей пакет со сменной обувью. Целую в прохладную родную щёчку – и она уходит. Вся такая трогательно хрупкая. С огромным ранцем за спиной. С пакетом в руке. Стою и смотрю ей вслед – и так жалко её становится, так жалко, точно расстаёмся на всю жизнь. Отчего так – не пойму.

### **Стоял себе на углу**

Стоял себе на углу – ждал ребёнка из школы. Двое молодых ребят-кавказцев подошли к сапожной будке, видимо, желая ботинки почистить, но заглянули внутрь и чего-то заробели. Стали меж собой переговариваться, и по куцым репликам я понял: чистильщик стар, и они не могут позволить себе развалиться, бесстыже выставив ноги, чтобы старик, согнувшись, чистил им, молодым, обувь.

– Дед, щётка-крем давай сюда, – говорят они с акцентом. – Сами почистим. Не бойся, деньги заплатим.

А чистильщик – колюче-щетиновые белые усы – бодренько так:

– Бросьте вы, ребята. Моя это работа – я сам и сделаю: нечего тут выдумывать.

Между ними завязывается спор, они оживленно, страстно жестикулируя, пререкаются, и, наконец, находят устраивающий обе стороны выход: парни по одному ботинку снимают с ноги, подают чистильщику – тот чистит, добродушно приговаривая:

– Во дают, чертяки, а, во дают!..

### **Тихая, тёплая осень**

Тихая, тёплая осень. По небу плывут белые лёгкие облака. Хочется подолгу смотреть вверх. Женщина хлопчет под навесом летней кухни. Кокает яички о край сковородки – яичницу на свином сале варганит. Так ловко и изящно она это делает, что невольно засматриваешься. Неподалеку копошатся куры с молодецким петухом во главе. На соседней улице снова поднимается шум и гам. Пашка Колотовкин, вернувшийся с

чеченской войны, опять вдрызг напился и с утра гоняется за кем-то по деревне. Участковый милиционер без дела торчит возле магазина. Он всё слышит и знает, что происходит, но не вмешивается. Может быть, стыдится, что Пашка воевал, а он в это время, молодой и сильный, за танцами в клубе приглядывал. Кто его знает. Младший сын женщины тоже служит в армии. Уже второй год пошёл. Сын часто слал письма. Но вот две недели как писем нет – и она всерьёз обеспокоена: как бы ребёнка не отправили на войну. Тем временем петух бочком-бочком подкрадывается к столу под навесом и орёт во всю мочь. Вздрогнув, женщина говорит:

– Если ты к добру, то ещё кричи, а ежели нет, то в казанке твое место. Ну!..

И петух, как бы испугавшись угрозы, спешно ещё раз орёт и, хлопнув крыльями, несётся прочь. А на соседней улице все ещё шумят, наверное, никак не могут уgomонить разгулявшегося вояку.

### На глазах слёзы стоят

Дядя В. привёз из армии патефон. Говорил, что патефоном его наградили за поимку иностранного шпиона. Да и понятно: он служил в начале пятидесятых – а тогда вся страна кишела шпионами: лови сколь хочешь и кто хочет. Одного и мой дядя словил – и его наградили. Иначе и не могло быть. Без смеха, в детские мои годы я искренне верил дяде.

Дядя В. захворал смертельным недугом и слёг. Мой брат с женой пришли навестить его. Он лежал в постели и по всему – отходил уже, страшно худой, голос слабый, слабый, хрип один, а не голос. Этим своим голосом он велел брату взлезть на дерево, нарвать ещё незрелой, зелёной, кислой алычи. Конечно, брат без слов исполнил его желание. Потом дядя попросил:

– Растолките алычу вместе с чесноком, посолите.

Всё сделали, как он хотел. Поднесли миску к его кровати.

– Теперь ешьте при мне, – сказал он. – А я посмотрю.

Они стали молча есть это изысканное лакомство. А он смотрел, и из его глаз сочились скупые струйки слёз. Брат мой говорит, что то были слёзы радости. Говорит, он видел, как губы его шевелились в бессильной, невнятной улыбке.

В ту же ночь дядя тихо скончался.

Дядя В. был крестьянином. Колхозным бригадиром. Полуграмотным мужиком. А вот любил костюмы классического покроя. Раз в пять лет выкраивал денежки – ездил в город: выбирал себе костюм. А куда в селе его носить-то? Круглый год в стёганке и кирзовых сапогах. Только по большим праздникам и надевал костюм. Однако, когда он умер, в шкафу целых пять пар почти новеньких костюмов висели.

Пишу эти слова, и почему-то на глазах слёзы стоят – и не поймёшь, какие они, эти слёзы, радостные или грустные.

### То был сон

То был сон – странный сон: вековечное течение времени вдруг застопорило, и самая крайняя минута, такая округлая, плотная – ты это ясно, отчетливо видел – прямо на глазах стала набухать, набухала, набухала и, разрываема изнутри живой энергией, наконец разлетелась в клочья.

Ты проснулся, сел за стол и написал не менее странный пассаж: «Когда мое личное время, с того момента, как я появился на свет, даже раньше, когда мои родители только мечтали обо мне, о своем первенце, даже того раньше, когда мои деды и бабки затевали своих детей, а может и того раньше, словом, если мое личное время, то есть время, отпущенное мне, вобрало в себя все хорошее и плохое от самого начала, от недостижимых

истоков до сегодняшнего дня, и если я ничего или почти ничего не забыл, не утратил, не расплылся в суете, если я не беспамятен, то никакой текучести времени не существует, значит, оно, время, сжалось, замерло, затвердело во мне, в моей истинной, внутренней сути, а внешний шелест минут, часов, дней, недель, месяцев, лет для меня не важен, не решающ – главное, я сохранил в себе свое личное, родовое, единственное и... надеюсь, бесконечное время, – дочь заглядывает через мое плечо на испещренную страничку».

В другой раз тоже то ли сон был, то ли игра больного воображения: ты видел, как время смеялось. Да, сперва оно улыбалось. Потом стало смеяться. Хохотать. И хохот этот был оскорбителен.

### Счастье

Моя десятилетняя дочь очень любит деревенскую жизнь.

– Пап, ты знаешь, – говорит серьезно, – когда вырасту, я хотела бы жить в деревне в собственном доме возле леса. Иметь корову, телушку и афганскую овчарку. И ружьё – чтобы дичь стрелять в лесу.

Милая, точь-в-точь повторяешь мою несбывшуюся мечту.

– Пап, а пап, – как-то сказала моя дочь, – мне стыдно признаваться, но я очень рада, что скоро поеду к бабушке в гости.

– А почему – стыдно?

– Ну, как же... уеду, оставив тебя одного.

И я чуть не задохнулся от счастья, и подумал, что да, что только лишь ради этой минуты, во имя этой ее чуткости, стоило жить и мучиться.

### Такой чудный запах

Декабря начало. А снега еще не было. Припоздала зима. День солнечный, светлый, тёплый – градусов десять. Небо высокое и нежно голубое, без единого облачка. Жена с хрустом развалила на две половинки продолговатую желтую тыкву – и такой чудный запах поплыл по кухне.

Меж нами довольно весомая разница в возрасте – почти пятнадцать лет, и первое время она не могла обращаться ко мне на «ты». Несколько недель или, может, месяцев, точно не помню, спали вместе, а она всё говорила мне «вы». А спала она в те годы как убитая. Даже когда стучались ко мне, громыхали в окно, не ворочалась в постели, не разлепляла глаз. Да и понятно – с пятнадцати лет жила в студенческом общежитии – привыкла, что вечно за дверью топают, шаркают ногами, галдят, без конца торкаются в дверь – и у меня никак не реагировала на шум. А может, и не так, может, тут другое. Говорила же сама иногда:

– Ой, я спать люблю, спать – во сне я такие сны ви-и-жу-у!..

Она привыкла видеть меня с усами. Когда мы познакомились, я носил крупные густые усы, но вот прошло где-то с полгода – и я почему-то сбрил усы. Её тогда не было дома. Вскоре она пришла, глянула на меня – и разревелась. Потом еще глянула и зашлась в рёве пуще прежнего. Потом долго, наверно, с неделю не могла смотреть мне в лицо. Тут же слеза прошибала. А было ей в ту пору двадцать четыре года. И я не мог прожить без неё более часа. Мы были безмерно счастливы. Боже, как мы были счастливы!..

То, что она, учась в восьмом классе, оставила дома включённый уют, потом, вспомнив, из робости не смогла отпроситься с урока и побежать домой, в сущности, и есть главная черта её характера. Одно это может нарисовать её во всей полноте.



Жена говорит: дочка в садике целый день ходила неприкаянная из угла в угол в группе – никто с ней не играл. Не играли-то дети с ней, наверно, потому, что она первый месяц в этом садике, а остальные там несколько лет – давно сдружились. Но дочь так испереживалась, что в три часа дня зашла к матери в кабинет – мать работала музыкальным работником в садике.

– Мам, пойдём домой, – сказала. – Тут со мной никто не играет.

Жена признаётся: еле удержалась – чуть не расплакалась. Я тоже, когда она мне рассказывала, едва не прослезился. Страшно, когда махонький ребёнок среди множества себе подобных детей чувствует себя одиноким.

Ты очень нежно любил жену в пору её беременности. Она тоже очень нежно любила тебя в ту пору. Любила не как мужа, не как мужчину, а как дружка по детским играм, что ли. Вы оба тогда ходили на малых детей. Такие внимательные и непосредственные. Бывало, она говорила:

– Ой, мне чего-то хочется поесть. Ты не знаешь, чего я сейчас хотела бы поесть?

– Не знаю, – отвечал ты с улыбкой. – Ты подумай и скажи: чего бы ты хотела – и я тебе подам.

Иногда ты ей читал вслух. Читал любимых тобою писателей: Чехова, Бунина, Ю. Казакова, Г. Семенова, В. Лихоносова. Она чутко слушала и ты, отрываясь от книжной страницы, видел, что ей тоже нравятся эти писатели, что она тоже любит их, хотя раньше имела о них весьма смутные представления. Словом, вы были по-настоящему счастливы. Ты ни разу не был недоволен ею, и она ни разу не была недовольна тобою. Только однажды, в самый последний вечер, случилось меж вами такое лёгкое препирательство:

– Ой, кажется, схватки начинаются, – сказала она.

– Да? Значит, надо позвонить, вызвать скорую.

– Нет, не надо. Подождём чуток. Может – ошибаюсь.

Ты сидел и развлекал её шутливыми разговорами. Скоро она опять говорила:

– Ой, всё ж, наверно, пора. Нет, погоди, не надо звонить.

– Ты что, милая, дай вызову. Так нельзя. Приедет врач и...

– Ладно, звони. Нет, постой, не надо. Ах, как ты хочешь отделаться от меня. Я тебе надоела – да? Конечно, надоела. А я никуда не поеду, знай, – заплакала она. – Не поеду. Если надо: сам езжай и рожай. Нашел дурочку. Не стану я рожать. Иди сам рожай. А я не стану. Не стану-у!..

### **Вежливость и прочие условности**

Я рассказал другу-прозаику, что, когда вышла моя первая книжка, на моей малой родине подходили ко мне совершенно незнакомые люди, обнимали меня и целовали, поздравляли, и мой друг удивился, с откровенной завистью удивился: у него на родине, дескать, такого нет и быть не может, там и родные-то, мол, не всегда поздравят с выходом романа. Я стал толковать ему, что это потому, что моя родина – это юг, там главное – этикет, форма, да к тому же я из малого народа и этим многое объясняется, но в первую очередь, конечно, юг, вежливость и прочие условности.

Кавказец вообще живёт одними условностями. Он всегда поступает, сообразуясь с общепринятыми в его народе нормами. Он подавляет в себе свою индивидуальную истинную сущность. Она практически никого не интересует, она сокровенна, почти интимна. Он поступает так или иначе потому, что так принято, что так поступали его деды и прадеды.

### **Так стыдно стало**

Стояли с мамой перед автовокзалом. Ждали рейсовый автобус. Молодая красивая женщина обратилась ко мне с пустячным вопросом. Я ответил, она поблагодарила, и так, слово за слово, завязалась беседа. Оказалось, она чеченка. Удрала от тягот войны, до институтской подружки добирается.

– У неё пережду этот кошмар. Может, удастся и на работу устроиться.

Она оставляла очень хорошее впечатление. Была спокойна, улыбочива и интеллигентна. Но вот она попросила приглядеть за её чемоданом.

– Пойду водички куплю на дорогу, – объяснила. – И кое-что из еды.

И растворилась в людской толчее. Стоим с мамой, ждём, время идёт, а её всё нет и нет. Я забеспокоился: может, она вовсе не вернётся, мол, может, в чемодане у неё взрывчатка?.. И всякие такие мысли о женщинах-террористках. Глянул маме в лицо – вижу: ей тоже не по себе. Она ведь от телевизора не отходит – наслышана о чеченском коварстве и неслыханной жестокости.

– Мам, возьми сумку, – говорю, – зайдём за угол вокзала.

Без лишних слов мама поняла меня. Зашли с ней за угол и оттуда выглядываем. Возле чемодана чеченки толкуются люди. Множество людей. Что – если сейчас рванёт?..

– Беги найди милиционера и всё объясни, – говорит мама. – Вишь, сучья дочь, чего надумала. Беги, пока не стряслась беда.

Я только тронулся с места – как чеченка мне навстречу. В руках двухлитровая бутылка с оранжевым напитком и целлофановый пакетик с едой. Я здорово растерялся, видимо, потому что она посмотрела мне в лицо и говорит так уныло и усмешливо:

– Ничего, ничего, мы привыкли. Не смущайтесь.

И пошла себе к чемодану. И мне так стыдно стало, так стыдно...

### **Солнце шепчется с тенью**

В смутной, зыбкой дали брезжит летний день. На деревьях медленно наливаются, созревают плоды, кругом поют птицы, толкуются насекомые, изредка лёгкая зыбь пробегает по зелёным ветвям, всё в движении, струится, трепещет, солнце вкрадчиво шепчется с тенью. За оградой тягуче скрипит арба. Лениво плетутся, отмахиваясь хвостами, буйволы, пережёвывая жвачку, тянут ярмо могучими тёртыми шеями. Железные ободки колёс, свинцово лоснясь, блестят на солнце. Чуть дальше – храм. Окна узки и высоки – не для того, чтобы любопытные заглядывали внутрь, и не для того, чтобы из храма выглядывали наружу. Там происходит нечто таинственное. Детей туда не пускают – нельзя – в школе засмеют.

Из моей жизни картина – а мнится седой древностью.

### **Хрупкое беззвучье зимнего утра**

Помню из детства, как бабушка рассказывает о дедушке, погибшем на фронте задолго до моего рождения, и странная, явно никогда не виденная мною картина оживает пред моими детскими глазами. Я слышу тягучий скрип арбы, запряжённой парой охристо-пегих волов, как бы вживе вижу деда, молодого, полного сил мужика, сидящего, свесив ноги, на передке арбы. Дед малость оторопело оглядывается по сторонам, смотрит на тяжко гружённые снегом ореховые кусты, на отдельные разломанные ветки и сокрушённо качает головой. Накануне шёл большой снег, валил густо и непривычно долго для наших мест, а ночью вдарил такой мороз, что с резким сухим звуком трескались деревья и, кажется, замёрзли все дрозды и теперь, наутро, частыми чёрными комочками лежали на ослепительно белой глади. У барсучьего оврага дед остановил волов, соскочил в глубокий и хрусткий снег, неспешно скрутил сигарку и, шагнув к краю оврага, приподнял шапку и поприветствовал мастеров, те, здоровенные бородатые молокане, не прерывая работы, весело закивали, пыхая густыми клубами

пара. Они огромной продольной пилой – один вверху на козлах, другой внизу – распиливали каштановое бревно на половицы. Размеренно и мощно водили пилой вниз и вверх, пила вязко и зычно визжала, брызгая на снежную белизну ярко-рыжие опилки. Дед долго стоял недвижно и озабоченно курил, наверное, думая о затеянной им постройке нового дома. Скоро и пильщики один за другим, оскальзываясь, цепляясь за ветки лещины, выбрались из оврага, поздоровались с дедом за руку и деловито закурили. Трое крупных, крепких мужиков замерли среди сверкающих чистых снегов, с жадностью и как-то прощально вслушивались в хрупкое беззвучье зимнего утра, точно предчувствовали, что не далее как через полгода разразится страшнейшая во всей истории человечества война – и все трое бесследно сгинут в самом её начале.

### **Этикет и сущность**

Мой застарелый конфликт с роднёй – это конфликт между кавказским этикетом и русской сущностью. Просто я малость обрусел – и только. Хотя этикета во мне не меньше, чем в остальных из моей родни, но в то же время сущностного начала очень много. Вся закавыка в том, что во мне они видят, хотят видеть такого же, как сами, типичного кавказца. А это ошибка. Хуже, лучше ли – не берусь судить, но я другой. Давно уже другой. Но разве объяснишь кому, как перемешена в тебе твоя удинскость с русскостью, что и сам не разберёшь, чего больше в тебе, твоего исконно южного, кавказского или русского, как две реки, слившись, тянут одним руслом, так и ты идёшь по этой жизни, вбирая впечатления от двух национальных стихий.

### **Василич**

Его зовут Василич. Он умеет спать стоя. И очень этим гордится...

### **Одинокая мушмула**

Снег шёл всю ночь. Шёл неслышно и густо, и к утру выпал в таком непривычном обилии, таким нетронутым, чистейшим слоем лежал, что дух захватывало. Наскоро позавтракав, вы, дети, шумливой гурьбой взорвав настоявшуюся за ночь тишь, высыпаете во двор в снежки поиграть, снеговика слепить, просто порезвиться... потом, помнится, всласть наигравшись, набарахтавшись в мягко похрустывающем, легко сминающемся девственном покрове, покрасневшие от счастливой усталости, мокрые, расхристанные, забегаете в уют и тепло родного дома, где весело потрескивает печка, забегаете и останавливаетесь в мгновенной оторопи: матери дома нет, а на столе, покрытом белой скатертью, прямо посерединке, на белой же тарелочке, красуется крупный, коричневый в светлую крапинку плод мушмулы, отдающий изнутри темью спелой мякоти, неизвестно как оказавшийся на семейном столе. Стало быть, стоите вы тесной кучкой, загнанно дышите и каждый из вас, наверное, готов ринуться, схватить этот удивительный плод, что чуть больше грецкого ореха, схватить и съесть, но вы стоите в неловком оцепененье, никто не решается шагнуть вперёд, потому что мушмула одна и её не разделишь даже на две дольки, мал и хрупок он, плод этот желанный, рушится от малейшего прикосновения, только один кто-нибудь может взять его и отправить в рот, а вас, к сожалению, к счастью ли, четверо, и что делать, как поступить, не знаете, и так в тяжком напряжении проходит минута, и все вы, видимо, всяк про себя смирившись, разбредаетесь по дому. А одинокая мушмула навечно остается островком чистоты и чуткости в твоей с годами изрядно захлавленной памяти.

### **Завидная картина**

Как-то всей семьёй собирали орехи. На соседнем участке орехового сада другая семья также собирала орехи. Там девочка в красном платице, вся ухоженная и красивая, с чёрными, как спелая ежевика, глазами. Иногда она украдкой взглядывает в мою сторону. Изредка я украдкой взглядываю на неё. К девочке я ни за что не подошёл бы близко – наблюдал за ней только издали. Ясное дело – девочка мне нравится. Но ещё больше мне нравится её мать. От неё всегда пахнет духами, волосы у неё густые и чёрные, а глаза – голубые: такое редкое сочетание. А на отца даже взглянуть страшно – так он хорош: неизменно чисто выбритый, одет тоже чисто и аккуратно, по-городскому, да и работал он не в селе, каждое утро его куда-то увозила легковая машина, а вечером привозила обратно. Чудно, но вряд ли я тогда знал, кто больше мне нравится: дочь, мать или отец. Все трое были желанны и милы. Необычайная для тех лет удинская семья: молодой муж, молодая жена, здоровые и состоятельные люди – и всего один ребёнок: эта девочка. Невидаль, да и только.

Мать девочки подзывает меня к себе, но я делаю вид, что не слышу её. Она зовёт ещё и ещё. Зовёт голосом – как теперь понимаю – счастливой в замужестве женщины, но меня что-то не устраивает в её тоне, я понарошку мурлычу какую-то мелодию и, не поднимая головы, собираю орехи. Она всё кличет меня, и подходит вплотную к межевой канавке, и мне ничего не остаётся, как перестать мурлыкать и как бы нехотя, с явной ленцой идти к ней. Она угощает меня персиком – одаривает таким большим и пушистым, как жёлтый цыплёнок, персиком с румяным бочком.

– У моих сирот,– с грустью говорит моя мать,– даже персики мелкие растут. Были такие же крупные, что и у вас, но как Бог за что-то прогневался на нас, всё мелкие пошли, всё мелкие...

Я смотрю женщине в лицо, в её добрые голубые глаза, которые с таким игривым прищуром, что дух захватывает, и мне хочется сказать ей что-то очень приятное, но не могу – так всё напряжено во мне. Я молчу, точно набрал в рот воды, и женщина, по-девчачьи пожав плечами, с улыбкой касается ладошкой моей щеки и поворачивается, уходит к своим, и так уходит, такой походкой, что я гляжу ей вслед, замерев в непонятной растерянности.

– Не смотри на них так, милый, не смотри!– вдруг кричит моя мать громко и с весёлым задором.– Всё равно они дочь за тебя не выдадут! Мы им не ровня. Не смотри!..

Не зная, куда деться от смущения, быстренько нагибаюсь: одной рукой спешно собираю орехи, а другой так крепко сжимаю персик, что на моё запястье прохладной струйкой брызжет сок.

По отношению к этой семье у меня тайна. Бывало, в сумерки, в тот час, когда начинают сновать летучие мыши, я забирался на каштановое дерево, устраивался тишком на толстой ветке и наблюдал за тем, как они втроём садились за стол на веранде и, мирно беседуя, ужинали. Потом долго молча сумерничали. Отец усаживался на перила веранды, в его пальцах дымила папироса. А мать с дочерью оставались за столом и смотрели на отца. Все трое легко и непринуждённо молчали – и от картины этой на меня веяло какой-то дивной отрадой. Я завидовал, наверное, ладной семейной жизни и мог часами любоваться чужим счастьем.

### **Этот дуб вековой**

Жарким летним днём вы с мамой собирали колоски в недавно сжатом поле, когда неожиданно налетел влажный, резко пахнувший пылью ветер. Минуту позже небо затянулось тьмою, тяжёлые, набрякшие синевой тучи нависли над головой. Стало душно, совсем нечем дышать. Зарокотал гром, раскатываясь дробно и зловеще, лохмы туч разорвало молнией, и вы заспешили, спасаясь от неминуемого ливня, к одинокому дубу посреди огромного поля. Босыми ногами бежали по жутко колкой стерне, и по темени уже шлёпали частые холодные капли, бежали и бежали, как вдруг откуда-то сбоку, появившись

с края поля, какой-то человек начал что-то кричать, размахивая руками, сперва было слышно сплошное: о-о-о – э-э-э!.. потом всё яснее, внятно: стой-ой-те-е!.. стой-ой-те-э!.. – и вы остановились, и в этот миг так страшно загрохотало, и такой высверк молнии ослепил вас, что от ужаса вы пригнулись к земле, и громадный дуб шагах в пятидесяти от того места, где вы замерли, мгновенно загорелся, задымил...

А после, много позже, ты впервые в жизни поцеловал девушку, хоронясь в глубоком, объёмистом, просторном дупле искореженного молнией дерева. И теперь это дерево, этот дуб вековой, считай, навечно остался на одном из недоступных лоскутков безжалостно разодранной, так легко сгнувшейся, призрачной, как детский сон, страны, некогда бывшей во всех своих безмерных пределах кровным отечеством.

Виктор Бирюлин

## ЯБЛОНИ В БУРКИНО

### В бесконечном саду

Накануне нового года природа приласкала замёрзшую землю пушистым снегом.

Ходил по зимнему саду и вновь удивлялся разнице между его летним буйством и зимней скромностью. Хотя, конечно, под снегом, в земле растения росли и готовились как раз побуйствовать. И всё-таки внешнее различие било в глаза, будоражило душу. Она жаждала жизни летней, цветущей, обильной впечатлениями.

Но зимой должен быть снег, как летом – зелень.

На улице ещё морозно, только яркое, румяное солнце, появившаяся слякоть на дорогах и мягкие под ногами тропинки не оставляли сомнений в близости весны.

На остановке в Красном Текстильщике опять увидел рыжего кобелька – доверчивого, терпеливо ожидавшего угощения, за которым он обращался к каждому подходящему. И он тоже рад весеннему теплу, бодро вертит хвостом в надежде на лишний кусок хлеба.

Сады и Волгу к обеду окутал туман. Сад ещё не проснулся. Кругом снег, грязь, вода. Но прошла неделя-другая, и уже фиолетовые крокусы и жёлтые гусиные лапки красуются на чёрной влажной земле.

Возле скворечника появился скворец. Он всюду зазывает самочку. Пищит, щёлкает, крыльями хлопает, дерётся с конкурентами. «Ну, где же ты, хозяйюшка? Дом готов. Я буду хорошим хозяином. Прилетай же!» Видно, его слова долетели до ушей птичьего бога. В следующий раз увидел скворца с червяком. Кому же? Ей, ненаглядной. Вон её клюв торчит в окошке. Скворец пощёлкивает умиротворённо. Порхает вокруг скворечника. И нам веселее. Пустой скворечник как пустой дом на жилой деревенской улице навевает грусть.

А вот и яблони в цвету. Белый цвет забивает зелень листьев. Передо мной огромные белые шары на подпорках-штамбах. Аромат цветущего сада – пряный, дурманящий.

Иной скромный цветок, ростом с вершок, расцветает ярко, радостно. И притягивает взгляды как магнитом. На этот раз внимание перехватила небольшая куртина поздних жёлтых тюльпанов. Выросли сами. Несколько лет из земли выглядывали одни листья, ещё подумывал, не убрать ли, поскольку были в стороне от основных тюльпанных строчек. Наконец расцвели. Нежные, аккуратные, никому не мешающие и никем не заслонённые.

Поздним вечером подошёл к окну полюбоваться на зародившийся месяц – нежное, тоненькое начало серпа – и две яркие звезды – одну возле него и другую посередине небосклона. Засыпаю под щёлканье и трели неутомимых соловьёв.

Утром гадаю, как сложится день? На его закате благодарю судьбу, что все близкие живы и здоровы. Пусть каждый день тянется как год. Ночь будет зимой, утро – весной, день – летом, а вечер – осенью.

На одной фотовыставке бросился в глаза снимок – зелёное поле до горизонта. И успокаивает, и мысли в полёт устремляются. Например, солнце, луна и звёзды отражают взгляды всех смотрящих на них людей, тем самым объединяя их.

Тепло, тихо, облака нехотя обнажают небесную синь. Смотрю, как настойчиво забурлившие соки раскрывают виноградные почки, как в них хозяйничает, разворачивая листочки, неукротимая тяга к жизни.

Прополол малинник. Тут же слетелись воробьи. Тянут из земли дождевых червей, слегка дерутся из-за них, чирикают, потом успокаиваются. Взлетели на ветку аморели и чистят клювики, вода туда-сюда головками с хитрыми бусинками глаз.

Невыразимая сущность бытия. Но как же хочется её выразить.

Ночью пошёл дождь и сеет до сих пор. С дорожек не сойдёшь. Но что такое грязь? Влажная земля. Её рабочее состояние.

Потихоньку тучи разошлись. Сад похож на зелёную шапку с белыми, жёлтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми вкраплениями. Усыпанная красными цветами плетистая роза как нарядная красавица посередине бала. И как же больно выкорчёвывать уже набравший силу виноградный куст с завязавшимися гроздьями. Чувствуешь себя убийцей беззащитного существа, оказавшегося не на месте по твоему же просчёту.

Соседи уехали в город. Округа выглядит вымершей. Вышел в ночной сад. Ветерок, разогнавший вечером комаров и принёсший бодрость, утих. Чистое звёздное небо. Луна за дубами. Тишина. Представил сладко спящего в своей городской кровати внука Тиму. Стало на душе теплее. И не так одиноко.

Дух ночи тревожит неопределёнными звуками. А дух рассвета ясен, как и рождающий его огромный оранжевый диск над восточным горизонтом.

Дух раннего утра лёгок, радостен. А дух знойного летнего полдня, напротив, лишает бодрости и клонит в сон.

Дух сумерек дружит со сверчками. С их сверчением он и нисходит в сад, внося в него умиротворение.

Когда-нибудь жизнь в саду будет представляться мне райской, золотым веком.

Позвонил старший сын Кирилл и попросил подготовить мангал. Захватив младшего, Ванюшку, едет отмечать с нами рождение своего Никитки. Приехали поздним вечером и уехали за полночь. Ну, за нового внука! Сколько ему? И дня ещё нет. Если не считать девяти месяцев. Дай ему Бог здоровья! Выпил за внука и глаза повлажнели. Ведь кроха, живой беспомощный комочек.

Вино, смягчив душу, убаюкало.

Вчера дождь ходил-ходил кругами, тучами обкладывал, но не спешил показаться. Ждали его, ждали. Наконец, пришёл. Спасибо! Уже пора и уходить. А он не торопится, как засидевшийся и надоевший гость. Всё собирается, и каждый раз находит повод ещё задержаться. Того гляди, и заночует. И завтра жить не даст.

Привлёк внимание необычный в позднее время крик птицы, зачем-то снявшейся с обжитой ветки и устремившейся в ночное пространство.

На утренней Волге чистая, спокойная вода. Береговые обрывы выставили напоказ свои древние пласты. А я раздумываю, ехать ли в город? Или остаться? Вот как далёк я от Гамлета. Ему бы мои сомнения – жил бы долго и счастливо. Но не дай Бог его проблемы мне.

Небо закрыто. Солнечные лучи вязнут в тучах, пытаюсь пробраться к Земле. И как же радуешься, когда им удаётся заглянуть хотя бы в замочную скважину. Хотя всего пару дней назад они докучали.

Начало вечера. Воздушная стихия улеглась. Нежарко. Негромкие голоса вернувшихся соседей со всех сторон. Вокруг сплошное зелёное море. Июль – макушка лета.

А во мне зреет чувство новой свободы. В самом деле, и сад не может намертво привязать человека. Жизнь просторнее любого сада, даже райского. Пусть вся Земля станет раем, мы всё равно будем стремиться за его пределы. Но вдруг представишь себя песчинкой в необозримом Космосе. Душа замирает. А ход мыслей становится простым. Зачем рассчитывать и надеяться на несбыточное?

Опять закрапал дождик. Тихо, мелко, как хвойными иголками по коже.

Подростий Тима заинтересовался обитателями сада. Говорит жуку-олёну: «Пока, жук». Розе: «Привет, роза». Сидел на лавке под окном и повторял за мной: «Как хорошо! Цветы яркие! Бабочки порхают! Тень и ветерок!»

В душу вливается покой. И чего-то жаль. Лето уходит! На этот раз дождливое лето. И всё равно желанное.

### Мамины пироги

Кто пробовал пироги моей мамы, тот на всю жизнь запомнил вкус тающего во рту хорошо пропечённого сдобного теста и всегда ароматной, в меру сочной начинки.

Казалось бы, не так и трудно испечь пирог. Рецептов хватает в любой кулинарной книге. Составные части, как правило, немудрёные. У мамы это были молоко, сахар, яйца, маргарин, растительное масло, дрожжи, соль, столовая ложка водки, ваниль на кончике ножа и мука. А начинка сгодится любая.

Вперёд, хозяйюшки!

Только вначале, по совету моей мамы, не забудьте вынуть на ночь из холодильника яйца и маргарин. И дрожжи проверьте на солонатовость. И тесто замесите не крутое, а мягкое, чтобы отставало от руки. И дырочку сделайте в центре, когда пирог ещё подходит на противне. А когда вытащите его из духовки, не забудьте накрыть чем-нибудь лёгким.

И ещё с десятков мелочей не забыть бы.

Но даже самое строгое следование рецепту не гарантирует удачи. И приготовленный опытным профессиональным кулинаром пирог не всегда становится украшением стола.

Мама рассказывала, что первые свои пироги она, не дожидаясь прихода со службы отца, выбросила в мусорную корзину. Но моя мама училась искусству выпечки, не жалея сил. Ей нравился сам процесс затевания пирогов. И очень хотелось порадовать близких людей.

Запомнилось её всегдашнее волнение, ведь любая мелочь могла свести на нет весь труд, начиная с бессонной ночи, поскольку приходилось вставать затемно, чтобы не упустить подходящее тесто. Она всегда оправдывалась перед гостями, мол, тесто не таким пышным оказалось, начинка немного подвела, надо было – вот не догадалась! – сделать по-другому, лучше.

Гости не очень-то прислушивались к этим сетованиям. Они просто наслаждались редким угощением.

Мы переезжали с места на место, следуя офицерской судьбе отца, менялись наши домашние очаги, но румяные мамини пироги по-прежнему оставались самым желанным лакомством. Они были для нас маленьким семейным чудом, живой сказкой. Как бы ни шли дела, душа согревалась от ожидания очередных праздничных пирогов. Хорошо бы с курагой! Но и с яблоками хорошо, и с капустой...

Мама постарела, пироги затевать ей уже не под силу. Сменщиков, увы, не оказалось. Мы с женой попробовали пару раз и забросили – образ жизни у нас иной, всё что-нибудь мешает.

Жаль.

### Золотой блеск форели

По слухам, в речке Хмелёвке, протекающей недалеко от наших садов, когда-то водилась форель. Решили с сыном проверить.

Утро выдалось славным – тихо, солнышко. Мы прошли с километр-другой вверх по течению за посёлком Хмелёвским, никого не встретив. Но попадались тропинки, сбегające к речке, перекинутые на другой берег хлипкие мостки.

Речка, летом похожая, скорее, на большой ручей, бодро бежала поймой, заросшей травой, кустарниками, огромными раскидистыми дубами и вязами. Говорят, что сто лет назад речку запруживали под водяные мельницы. В запрудах и разводили форель. Похоже, что так и было.

Мы продвигались зыбким берегом, перешагивая через коряги, обходя ямы с подсыхающей грязью, путаясь ногами в зарослях. Нас окружали гулкие птичьи голоса, монотонное жужжанье насекомых и волнующие запахи неизвестных нам цветов. А глаза невольно высматривали в бегущих волнах золотой блеск форели.

С утра было свежо, но вот уже накатывает горячее солнце. Спасаясь от жары, зашли под прохладный полог дубовых крон. Почувствовали себя в райском саду, который походил, скорее, на такую вот густонаселённую речную пойму, чем на современные ухоженные парки. Недаром же многие из нас любят заросшие сады с петляющими тропинками и высокой травой. В заросшем, а еще лучше заброшенном саду душа чувствует себя свободнее и естественнее.

Повернув обратно, мы перешли дорогу из Саратова на Красный Текстильщик и всё той же спасительной густой поймой добрались до устья речки в старинном селе Хмелёвке. Устье оказалось широким, весной здесь, наверное, хозяйничает бурный поток. Пока же речка с небольшим шумом впадала в Волгу возле крутого обрыва.

Мы немного походили по пологому волжскому берегу, усеянному галькой. В спокойной воде отражалось чистое синее небо, вдоль берега зеленели полосы камыша. Мирную картину довершали терпеливые фигуры рыбаков.

А что же форель? Кто знает, может, вернутся на тенистые берега Хмелёвки предприимчивые энергичные люди, запрудят её быструю воду и вновь заплещется в ней рыба с радужной чешуёй.

### Дегустация вина в домашней обстановке

Кто-то ходит в баню накануне нового года. А мы с приятелем после Крещения Господня пробуем своё молодое красное сухое вино. Вот и в этот раз он приехал ко мне со своими образцами. Я приготовил свои. Устроились на просторной кухне за столом с соответствующей случаю закуской и полудюжиной больших стеклянных винных бокалов. Зимой в городской квартире чувствуешь себя в светлой и тёплой подводной лодке, плывущей в тёмном пространстве, где хозяйничают мороз и злой ветер.

По праву хозяина налил понемногу из всех представленных образцов.

Подождали, пока вино насытилось кислородом. Полюбовались на «винные ножки», нехотя стекающие вниз. Гранатового цвета вино на свету засверкало изысканным тёмно-вишнёвым оттенком. Вдохнули лёгкие фруктовые запахи, наконец, попробовали и с удовольствием ощутили горьковатый вкус созревающего вина.

И с градусами всё в норме – хмель мягко растворился в голове. И мысли помягчели. За столом стало ещё душевнее, доверчивее. Ведь вино и рождено для радости, а не для ссор и скандалов.

Моё вино приятель похвалил. Предположил, что добавка местного виноградного сорта Мукузани придаёт ему изюминку – ощущение «недоброда при перебродке», то есть при реальной сброженности. Заметил, что наше вино из потапенковских сортов зреет



быстрее. Мы обсудили достоинства Неретинского, Агатама, Прорыва и других виноградных шедевров с общим амурским корнем. Поговорили о виноградниках, потихоньку приобретающих зримые черты и в наших окрестностях.

Почти сразу в разговоре о вине и винограде зазвучали библейские мотивы. В седые непроглядные времена люди вкусили забродившего сока виноградных ягод и «проснулись», обретя сознание. И вся дальнейшая жизнь людей, по-нашему с приятелем глубокому убеждению, оказалась крепко связана с гроздью, отражающей расширяющуюся Вселенную.

После второй пробы нам немного взгрустнулось.... Представилось, что когда-нибудь на опустевшей Земле останется последний куст винограда. И человек будет неотрывно смотреть на ветку с созревающими плодами. Они вместе покинут роскошную прежде планету. Не будет больше ни винограда, ни людей, потерявшихся без лозы жизни.

Удивительно, как любой разговор на русской кухне незаметно переходит в обсуждение вопросов мироустройства. И вот уже вокруг нас закружились слова о душе, энергетике человека...

– Всё на Земле и в Космосе взаимосвязано друг с другом, начиная с Большого взрыва и до окончания веков, – убеждал меня приятель. – Глобальное информационное поле предопределяет путь каждой пылинки.

– И наш с тобой путь к винограду тоже был предопределён?

– А ты сомневаешься?

В данном пункте я не сомневался – в какое-то мгновение высветилась вся жизнь, и я увидел, как судьба настойчиво вела меня в этом счастливом направлении. Да и другим приятельским доводам не возражал, хотя, на мой взгляд, многие тайны хороши именно своей недоступностью. И пусть сидят себе, как джины в бутылках.

Мы с приятелем спокойно наслаждались своим добрым вином, свободно говорили обо всём, что вздумается. Никто не заглядывал из-за спины, не подталкивал под локоть, и мы никому не были в тягость. Наши души стремились в полёт.

Между тем, дегустация продолжалась своим чередом. Обнаружилось, что у приятеля вино более терпкое, чем у меня. Отчего? Может, от того, что он не отделяет гребни при сбраживании. Может быть, от почвы – у него на Зелёном острове вокруг один песок. А у меня в саду за Хмелёвкой лёгкая земля и богатое фруктовое окружение. Но наше молодое вино было в порядке. Нам оно нравилось – вот что главное в оценке вина, впрочем, не только его.

В завершение попробовали вино с добавлением мёда. Приятелю понравилось. А мне показалось сладковатым. Нет уж, буду придерживаться классики. Сухое, значит, сухое.

Раньше всё никак не мог взять в толк, как же герои старинных романов утоляли вином жажду. Напротив, мне хотелось ещё больше пить. Попробовав своего терпкого душистого вина, понял – дело в том, что герои пили настоящее вино, а не сегодняшнее магазинное.

Вдруг захотелось уехать в Испанию, встретиться там с женщиной, говорящей на испанском языке с лёгким португальским акцентом. Вся жаркая Испания с её апельсиновыми рощами и звоном кастаньет, пусть выдуманная, но близкая и родная, встала перед нашими заблестевшими глазами. Для нас с приятелем она, как и другие средиземноморские страны, остаётся обетованной землёй сплошных виноградников и жизнерадостных виноделов, понимающих, что к чему в этом мире, и с которыми мы бы легко нашли общий язык.

Вспомнился фильм о виноградниках Лаво в Швейцарии, устроенных на склонах гор, сходящих в Женевское тёплое озеро. Кусты плодоносят здесь со времён Древнего Рима. В старину за спину привязывали высокие плоские корзины. Женщины нагружали их срезанными с веток гроздьями, а крепкие парни сносили вниз и высыпали, наклонив плечо, не отвязывая, прямо в давящие чаны.

Представил себя таким вот неунывающим крепким парнем, перекидывающимся шутками с весёлыми сборщицами, с достоинством носящим свою наполненную плодами корзину. Чтобы вся жизнь прошла под чистым небом, среди узорных листьев винограда, на родной земле под ногами.

Проводил приятеля до остановки на автобус. Зимний день клонился к вечеру. Под ногами пружинила земля, покрытая порошей. Мы ещё успели поговорить по дороге о том, что лучшее вино получается только из своего винограда, а если уж молиться, то вечности.

Хорошее красное сухое вино, подержав человека в своих ненавязчивых объятиях, так же легко отпускает его, возвращая в привычное состояние. Только душа становится чуточку нежнее. А мысли ещё какое-то время парят над обыденным строем вещей.

### **Рыбалка дилетантов**

Господи, пять часов утра! Край неба только светлеет. Самый сладкий сон. А в тихом летнем саду он ещё слаще. Но Ванюшка быстро заводит машину, и мы рулим к недалёкому устью Хмелёвки. Опоздали! В густых камышах и вокруг них уже торчат удочки местных рыбаков.

Пока вытаскивали из багажника снасти и надувную лодку, подъехал джип с большим дюралевым катером на прицепе. Его идеальные носовые обводы устремлены, скорее, вверх, чем вперёд. Джип привычно развернулся. Съехал прямо в воду. Из него вышли два крепких мужика в высоких резиновых сапогах. Настоящие речные волки. Отцепили катер, ловко забрались в него. На мелких оборотах прогрели мощную «Ямаху» и стрелой помчались к далёким островам.

Проверяют сети. Не на удочку же «волки» ловят рыбу. И домой с богатым уловом. А, может, причалят к знакомому острову. Поставят палатку. Наберут сушняка. Не спеша разведут костёр. Затеют к вечеру уху. Вынут из прибрежного песка охлаждённую бутылочку. И за дружеской беседой под звёздами и свежим волжским ветерком проведут заветные часы жизни.

Накачав свой двухместный «Шкипер», направили его за нескончаемую полосу камыша. Утренняя прохлада быстро растворилась в лучах взошедшего солнца. Камышовая зелень стала нежнее, мягче. В глазах зарябило от водяных бликов. Поспешили забросить несколько «косынок», «бакланов» и небольшую всегда некстати путающуюся сеть. Побросали для порядка забученную с вечера прикормку из сухарей и жмыха.

Всё это оглядываясь, поскольку рыбоохрана на Волге не дремлет. Потом Ванюшка половил немного на удочку. Один раз сорвалась хорошая плотва. Немного поблеснил. Блёсны у него французские. Первый класс. Но щуки и судаки уже позавтракали. А я сидел на вёслах и разглядывал берег, с наслаждением вдыхая неповторимый запах волжской воды.

Казалось бы, берег как берег. Ну, высокий, обрывистый, древние отложения можно руками потрогать. Дело в другом. Всякий раз, когда смотришь с Волги на берег, чувствуешь себя немного первооткрывателем.

Чередующиеся земляные пласты выглядят безжизненными, миллионы лет назад исчерпавшими плодоносную силу. Но нет. Кое-где в них вцепилась трава. А внизу почти отвесной стены на границе с водой – пышное зелёное ожерелье из деревьев и кустарников.

А чего стоит вид разнообразных, порой причудливых построек прямо на кромке. Вот маленький дворец из красного кирпича, весь в башенках. А вот обычный дом, но с двумя широкими навесами по обе стороны. То ли для застолий, то ли для рыбацких затей. Похоже, владельцы и дворцов, и хижин смирились с мыслью о возможных оползнях, обвалах. Зато в их окна вливается постоянно меняющийся свет отражённого Волгой солнца. И круглый год рыбалка. Равнодушные к ней вряд ли поселятся в таком близком соседстве с большой водой, которая может быть и лихой, опасной.

То и дело встречаются сходы к Волге. В глаза бросилась винтовая железная лесенка с ажурными перильцами. А вот пошли укромные пляжики. На одном красуется маленькая синяя палатка. Воображение рисует в ней влюблённую парочку. Не будут же рыбаки спать в такой час. Встречаются и замаскированные от недобрых взглядов лодочные стоянки.

Невольно забылся, пока не услышал: «Пап, чего ты в самые камыши правишь?» Напротив Ванюшка со своим хитроватым добрым прищуром в очередной раз замахивается спиннингом. А над головой солнце уже во всё небо. Вокруг спокойная волжская гладь. Её лёгкое колыхание убаюкивает, кажется, не только нас, но и острова, берега и «Шкипера», которого я привязал для устойчивости к камышам.

Вся жизнь в эти минуты сошлась на нашей лодке. Душе немного надо для радости. Достаточно приветливого родного взгляда, ласковой воды за бортом, смешного кваканья лягушек возле недалёкого берега и нескольких чаек, зигзагами носящихся над головой.

Как часто бывает в наших краях, погода резко изменилась. Вдруг подул сильный ветер. Волны стали накатывать всё выше, уже захлёстывая нас. «Шкипера» закачало. Куст камыша, к которому он привязан, вырвало с корнем.

Мы заторопились обратно, собирая по пути свои забросы. Улов? С десятков небольших плотвичек, краснопёрок и линьков. И два рака, залезших в «баклан» за рыбой. У них была потом своя история со счастливым возвращением в родную стихию.

### **Расти, Тима, расти**

Гостил с утра у Тимы, немного шмыгающего носом. Он меня ждал. Сразу взял за руку и повёл показывать перестановки в квартире – спальня въехала в кабинет, где теплее, а тот соответственно перебрался в спальню, где просторнее.

Посмотрели по компьютеру мультимедиа о том, как сгорел «кошкин дом». Тима несколько раз просил повторить сцену, где хозяйка-кошка с котом-сторожем прыгали с горящего балкона на брезент – его развернули и крепко держали молодцеватые бобры-пожарные. В глазах внука светилось уважение к ним.

Несколько раз прокрутили сцену, где петушки вначале дрались друг с другом, а затем погнались за кошкой с котом, просивших у курицы-матери пустить их на ночлег. При этом Тима изображал петушков, ловко прыгая по дивану. Досталось и мне.

В квартире есть где развернуться и поиграть в игрушки. Но четыре стены, как бы далеко друг от друга не стояли, всё равно ограничивают движения и фантазию. То ли дело свой двор или сад.

Летом Тима разгуливал по саду в одних разноцветных шортиках и бандане. Ловко лепил куличики из песка. Возился с машинками. Ходил с нами на Волгу. Плескался голышом в бассейне с тёплой водой. С удовольствием ел малину прямо с кустов, грыз яблоки прямо с ветки.... Набегавшись, устраивался на качалке за баней и пел песни, в том числе собственного сочинения.

Как и все в нашей семье, внук ждёт нового лета. Он собирается строить за баней под яблоней шалаш из веток, как это делал в своё время его папа. И готовится рыбачить с нами на новой надувной лодке. Уже и удочку приготовил игрушечную.

Но пока в окна смотрится одно хмурое городское зимнее утро без горизонтов. Только с лоджии взгляд выхватывает свободную полосу Волги, выделяющуюся чистым белым цветом.

В утешение рассказал Тиме, что у меня на подоконнике зацвёл первый кактус – маленькой розовой розеточкой, спрятавшейся среди иголок. Кактусами он всякий раз живо интересуется, непременно стараясь их погладить, несмотря на колючки.

Наладили с Тимой на диване две «горки» из длинных обувных ложек и стали наперегонки катать по ним «бобы» и бусинки. Потом лепили зверюшек из пластилина, рисовали карандашом и акварелью разноцветные домики и деревья. Потом Тима, он же

«кот Матвей», прятался за огромным плюшевым пёсиком от рыскающего злого «волка», которого я изображал, как мог, иногда переигрывая. Впрочем, это только добавляло радостного визга.

Тем временем подошла очередь игрушечной гитары. Вместе спели «Миленький ты мой», после чего Тима долго не мог успокоиться и всё спрашивал, почему ему захотелось вдруг плакать.

Наконец, внук отправился спать – малышам положено спать и днём, впрочем, от сладкого дневного сна и многие взрослые бы не отказались. Дружелюбно попрощался со мной. И рукой помахал, и ладошкой хлопнул, и «пока» сказал, и отца заставил всё это повторить.

Уже без меня его уложат в кроватку, и он быстро заснёт, полежав немного с закрытыми глазами.

### Яблони в Буркино

Как же приятно зайти в гости к друзьям, коротающим лето в загородном саду. Неважно, что путь к нему лежит через поле длиной в четыре километра. И небо с утра хмурится, того и гляди заморосит. Дорога ровная. Вокруг разноцветье и разнотравье. Глаза радуют растущие вдоль обочины знакомцы – синий цикорий, нежно-розовый татарник, ярко-жёлтая пижма, шёлковые белёсые метёлки ковыля.... И появившийся кружочек солнца среди облаков выглядит окошком в иной, но вряд ли лучший мир.

В конце пути дорога пошла в гору. Открывшаяся взгляду широкая долина и её склоны покрыты густыми грибными лесами вперемежку с дикими лугами. По ним ещё стелется утренний туман. Перешёл на другую сторону холма и увидел, наконец, Буркино. Внизу рассыпались разноцветными кубиками дома дачных посёлков. На улочках тихо. Поверх заборов свешиваются зреющие плоды.

Тем временем облачная пыль опять завесила солнце, где-то и погромыхивает. Но я уже у заветной калитки. Хозяйка с дочкой радушно её открывают.

– Как добрались?

– А вы как поживаете, сударыни?

По заведённому ритуалу, вначале последовал осмотр сада. У моих друзей он немного небрежен, не по линейке рассажен, как, впрочем, и все наши сады, но изобилует на удивление. Меня встретили целые поляны цветов с розами и рододендронами во главе. В ушах зашелестели тамариск, гибискус, жёлтая лапчатка и другая для меня экзотика. Тут и там бросались в глаза земляничные, помидорные и овощные гряды. Мы долго блуждали среди вишен, слив, абрикосов, алычи, груш, орехов, виноградных шпалер, кустов смородины, крыжовника, барбариса, декоративной туи, можжевельника и даже черёмухи, сосен и берёз!

Но царствовали в этом привольном садовом мире всё же яблони. Без них любой сад выглядит пустоватым. Здесь они встречались на каждом шагу. У некоторых кроны уходили, казалось, в самое небо. Их необъятные ветви были щедро увешаны разноцветными плодами. В своих пышных зелёных нарядах эти яблони выглядели королевами. Перед ними хотелось снять шляпу и почтительно поприветствовать.

Обход сада, как принято, завершился в уютной беседке вольным разговором обо всём, что волнует душу и занимает мысли. Ах, эти нешумные доверительные застолья под звонкий птичий щебет и жужжание надоедливых ос, не мешающих, впрочем, наслаждаться общением с милыми тебе людьми. Как же скучна без них жизнь!

День между тем потихоньку катился сказочным клубком по запутанным садовым дорожкам. И вот уже мне предложено лёгкое складное кресло для отдыха. Подставил разгорячившееся лицо под свежий ветерок. Сады, как зелёные омуты, вбирают нас в себя. Мы с наслаждением погружаемся в них. Расслабляем натянутые жизненной гонкой нервы, оставив на время суету. Садовые деревья врачуют нас и дают верное направление. Ведь

они свободнее людей, несмотря на корни-якоря. Они занимаются предначертанным делом, не отвлекаясь по сторонам и не подчиняясь чужим влияниям. Не впадают в депрессию, потому что довольствуются тем, что есть. И спокойно отсчитывают кольца годов.

С самого утра серые тучи безостановочно бежали с запада на восток за далёкую отсюда Волгу. Пару раз даже капнуло. Но к вечеру ветер стих, и небесная картина стала меняться на глазах. Облака забелели. Пробивается синий цвет, чаще проглядывает солнце. Пора и в обратный путь.

### **Крест Бабича**

Этот небольшой участок земли вдоль волжского обрыва давно привлекал моё внимание. Диковатый на вид, заросший жёсткими цепкими степными цветами вперемежку с вихрастым ковылём. С одной стороны его ограничивают дачные постройки. Другой он выходит к окраинам старинного села Хмелёвка. Напротив, через дорогу, зеленеет большое ухоженное Хмелёвское же кладбище.

Но с десятков старых крестов, пошатнувшихся ржавых оградок есть и на участке. Один крест на самом краю обрыва виден издалека. Подошёл к нему. Железный православный крест с кружочками на семи концах. Внизу – большая табличка из нержавеющей стали. На ней свежая гравировка:

**БАБИЧ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ**

5.01.1863 – 27.02.1936

Под моими ногами, всего-то копнуть несколько раз, лежали останки человека, увидевшего свет полтора века назад. Ворохнулось в душе. Судя по датам, воевать Бабичу вряд ли пришлось. Разве только в гражданскую. Но вот голодать на своём не малом веку наверняка приходилось.

Чем же ты занимался, Яков Васильевич? Рыбачил? Огородничал? Хлеб сеял? Богато жил или бедствовал? Добрая ли у тебя жена была? И работающие ли дети? Очень хочется верить, что жил ты, может, и не без греха, но по-человечески, как всем нам заповедано. Трудился, не покладая рук, встречал, как положено, праздники, заботился о семье. Одним словом, пользовался благом, когда везло, и терпел, когда приходили несчастья.

Поэтому тебя и не забывают. Вот и табличку обновили, и цветы бумажные не чужие же люди принесли. Значит, род твой продолжается.

И тут только пришло в голову, что этот сиротливый уголок земли был когда-то обычным кладбищем. А бугорки, по которым так неудобно ходить, – остатки могил.

Судя по всему, кладбище было устроено на высоком берегу, как и сама Хмелёвка. Скорее всего, участвовавшие оползни вынудили хмелёвцев перенести его подальше от обрыва. Потом старое и новое кладбища разделила дорога. И оставшиеся на краю могилы оказались предоставлены сами себе.

Закрапал собиравшийся с утра дождь. Но я побродил между уцелевших надгробий, прочитал надписи, где они сохранились. На самом старом кресте просматривалась иконка Божьей матери. На нескольких крестах уцелели фотографии. Один огорожен новыми блестящими цепями. Но большая часть крестов и пирамидок со звёздами клонится к земле.

Проглянуло, наконец, солнце сквозь скопившуюся небесную хмарь. Горячие невидимые лучи вновь обласкали всё живое. Ещё раз оглядел участок, редкие оградки и крест Бабича. Подумалось, а хорошо бы, если через сто лет и мой будущий крест также упрямо смотрел в небо.

### **Семена жизни**

Вышел из дачи в осенний сад. Ещё только половина восьмого вечера, а вокруг уже глухая ночь. Правда, наверху светло. Небо в ярких крупных звёздах. Большая Медведица венчает обрыв с северной стороны. Серп месяца застыл над южным горизонтом. Прямо над волжскими островами, на которых с утра опять загремят выстрелы охотников. Пока же слышен только отдалённый лай собак в посёлке и далёкий шум моторов на трассе. Да и они становятся всё глуше и глуше. Окружившую меня земную темноту подсвечивает лишь слабый свет из дачного окна. Он подчёркивает нахлынувшее ощущение нереальности происходящего. Родной ли сад вокруг меня засыпает? Или я лечу вместе с ним куда-то в необозримом мерцающем пространстве?

Очевидно, эти мысли навеял межпланетный зонд «Вояджер-1». Через 36 лет после старта он вышел, наконец, за пределы Солнечной системы. Известие взбудоражило. Ведь это равносильно исходу наших пращуров из Африки. В конечном счете, они освоили всю планету.

Находившись по тёмному тихому саду, отправился тоже спать. Ещё раз окинул высокое небо. Его от края до края пересёк Млечный путь. Сколько раз видишь его за жизнь? Сотни, если не тысячи. И каждый раз вытянутые в белую кисею неисчислимы звёзды поражают своей яркостью, кажущейся близостью и, в то же время, загадочностью.

В детстве послали с приятелем в Академию наук несколько наивных вопросов о Вселенной. И, к своему удивлению, получили на них ответы, в том числе о том, что она бесконечна. Не прошло и полувека, как фундаментальная, казалось бы, точка зрения поменялась на прямо противоположную. Оказывается, бесконечна не Вселенная, а Вселенные, которые образуются всё новыми и новыми Большими взрывами.

Семена жизни носятся по рождающимся Вселенным, цепляясь, за что удастся. Но прорастают не везде. На нашей планете волей случая проросли и растут. Учёные предполагают, что будут расти ещё с миллиард лет. А потом? Да какое нам, живущим сейчас, до этого дело? Дело есть. Хотя бы потому, что знание по-прежнему – сила, а неизвестность притягивает так же, как и тысячи лет назад. И нам, слава Богу, всё ещё небезразлична судьба наших детей, внуков, правнуков и всех дальнейших потомков до скончания веков.

### Пахнет яблоками

С веранды в открытую дверь доносится густой, слегка пряный запах зимних яблок. Выходишь и ещё раз окидываешь хозяйским взглядом доверху наполненные ящики и корзины. Да и пора намыть новых яблок. Быстро набираешь небольшую охапку, пальцами ощущая упругость гладкой прохладной кожицы, моешь и укладываешь горкой на тарелку посередине кухонного стола. Рука невольно тянется к самому крупному и яркому плоду. И вот уже наслаждаешься его плотной, сочной, сладко-кислой мякотью.

Яблочный клубок не спеша катится через всю жизнь. Часто вспоминается аромат маминых яблочных пирогов. Читаешь внукам сказки и вновь оказываешься в тени дикой яблоньки с её простыми яблочками, открывающими дорогу к незатейливому счастью. А сколько дров наломаешь вокруг яблока Евы, прежде чем поймёшь, что и яблока-то не было, да и Ева у каждого своя.

Вспомнился недавний сбор яблок. Утреннее солнце согрело холодный ночной воздух. Он казался настоящим на лёгком медовом запахе свисающих со всех веток бордовых и красных с жёлтыми разводами плодов. Запахе столь же заветном, как и запах хлеба. Хотя яблоки всегда на вторых ролях. Они привычны. Над яблоней не дрожишь как над добытым с трудом саженцем югославского чернослива. Но яблоки, как и хлеб, не приедаются. Им доверяешь как родным людям, которые не обманут, поддержат в беде.

Дождь, на улице холодно и неудобно. Худшие дни уходящего года. А на веранде по-прежнему пахнет яблоками.

## РАССКАЖУ ОБ ОТЦЕ

Мой отец Владимир Иванович Пырков (1935 – 2010 гг.) является автором книг «Озёра», «Алый снег», «Колокола под снегом», «Свет берёз», «Материнская речь», «Лилии с ближних озёр», «Дом на Венце». После завершения учёбы на историко-филологическом факультете Ульяновского педагогического института он работал в газете «Ульяновский комсомолец», возглавлял Ульяновскую писательскую организацию, заведовал отделом поэзии регионального журнала «Волга», долгие годы входил в его редакционную коллегию. И через всю свою жизнь отец пронёс негасимую любовь к родному Ульяновску, Венцу, Подгорью, где прошло его военное детство, навсегда утраченным заливным озёрам, истории и культуре Симбирска.

Волга, Воложка, Венец... Эти слова я слышал с детства, слышал, конечно же, от отца, и всегда, ещё не вполне даже понимая смысл и значение их, чувствовал в звучании простых звуков, округлых и глубинно сдержанных, радость родства.

Родом из Ульяновска. Что тут скажешь? Они и теперь передо мной, улицы родного города, кажущиеся бесконечно длинными, пересечёнными, загадочными. Минаева, Кузнецова, Гончарова, Карла Либкнехта, 12 Сентября. А подальше от центра – Засвияжье, или север, или солнечная Киндяковка с её Винновской рощей. Деревья, и правда, были большими, дома, хотя бы и панельные пятиэтажки, в одной из которых прожил я первые шесть лет своей жизни, и правда, казались высокими, а люди – вечными.

Я был редакционным ребёнком. Всегда. Хоть в Ульяновске, хоть в Саратове. Отец охотно брал меня и в редакцию «Ульяновской правды», и в «Ульяновский комсомолец», и в Союз писателей, который он как раз возглавлял в ту пору. Атмосферу редакционной жизни впитывал я вместе с густыми клубами табачного дыма, привыкал к ней, как к стуку пишущих машинок – сразу нескольких, – невольно примеривался к её неровному дыханию, к её равнодушному ритму.

Ульяновские писатели и журналисты часто бывали у нас дома. Так что духом литературного Ульяновска я дышал постоянно. Бывало, я немедленно бросал все свои игры, куда-то в угол летел пистолетик с пистонной лентой, а я летел к взрослым – послушать их непонятные речи, покачать головой, как будто что-то понимаю, перенять азартную интонацию их голосов. Взрослые же не были против моего назойливого общения. А может, дело в том, что творческие люди – они в чём-то сами как дети?

Хорошо помню Николая Благова, большого, величественно окающего и в то же время более из всех прочих походившего на ребёнка; помню тихого и пристально глядящего на всё Николая Рябинина и тот день, когда он прочитал у нас стихотворение, в котором «с берёзы накрапывал лист» (Благов сразу же воскликнул: «Потрясающе! Ванька, ты понял? Это же ме-та-фо-ра, это же ме-та-фо-ри-ще!»); помню славного и доброго Петра Мельникова, «поэта-плотника», как уважительно называл его отец, острую на язык и умеющую парадоксально мыслить журналистку Бару. А когда отец приводил меня в редакцию «Ульяновской правды», Вера Шутова, милая тётя Вера, всегда угощала большой яркой конфетиной.

Особенно же рельефно запечатлелся в детской моей памяти человек, которого все звали просто: Саша Бунин. Как он умел рассказывать! Какие анекдоты изображал, именно изображал он! Какие поднимал тосты!

«Дядя Саш, ну покажи ворону, ну ту, что в самолёте...» – канючил я обыкновенно. И дяде Саше, которому тогда лет было едва ли не меньше, чем мне теперь, принимался за дело. И не очень-то, в общем, смешная история с бородой доводила всех до

иступлённого, гомерического, «несказанного», как написал в «Обломове» Гончаров, смеха. Скорее всего, я полагаю, нагловатая и хитрая ворона, подбивающая других, не умеющих летать, на разные шалости, имела в бунинской интерпретации вполне реальных прототипов из начальнической среды. Бунтарский дух был силён в Ульяновске во все времена.

Поэту Александру Бунину суждено будет написать несколько пронзительных, искреннейших стихотворений и умереть совсем ещё молодым человеком, оставив по себе в памяти людей яркий свет таланта и обаяния. Тогда мы только ещё начнём жить в Саратове, и отец принесёт домой серый конвертик, и прочитает письмо – от Тамары Смирновой, маминой сестры, работающей в «Ульяновской правде». Из письма я почти ничего не пойму, но запомню растерянный голос отца, запомню его тихое: «Саша Бунин умер».

Отец ведь, если не ошибаюсь, был редактором стихотворной книжечки Бунина «Три тополя»...

В Саратове тополя-то другие. Всё больше – пирамидальные. Другая в них музыка, другая душа. Ульяновский тополь, он укоренён основательно, вширь раздаётся, разрастается во все стороны, раскидывает руки-ветви, точно бы обнять тебя хочет.

Никогда не забуду, как отец водил меня к тополию своего детства – на Венец. Разгорался июнь, стрижи отчаянно рассекали воздух, над бескрайней Волгой поднималось синее марево. Где-то очень-очень далеко от берега белели паруса смельчаков и виднелись рыбацкие лодочки. Мы шли по Венцу, мимо роскошных клумб и пышных цветников, но отец гораздо внимательнее, зорче вглядывался в простые, неброские полевые цветы, как бы бегущие вниз по земляным склонам или тулящиеся меж бетонных плит.

– Вот солдатская трава, – радовался он чему-то не вполне мне ясному, – вот донник, помнишь, «цветок засухи», ну это цикорий, самый крепкий стебель у него, а сорвёшь – в минуту пожухнет, тут колкодеды, они ещё не раскрылись, не превратились в белые пушистые шарики. А это мой любимый...

– Подмаренник, пап? – спрашивал я, заранее зная ответ, так как много раз слышал дома об этом луговом чуде.

– Да, – кивал головой отец. – Он самый, подмаренник. Чувствуешь, какое сегодня марево вокруг, июньское марево, живое, вот и подмаренник – под маревом расцветает, и дух у него... такой... какой только в заливных лугах был...

О заливных лугах история особая. Я никогда, конечно, не видел и не мог видеть их, симбирские заливные луга и заливные озёра, оставшиеся на дне Куйбышевского моря. Вода, получается так, тоже может быть утонувшей, особенно, если она – живая... И всё же я отчетливо представляю себе, какой вид открывался со старинного Венца – так живо рассказывал мне об этом отец. И не мудрено. Окошки дома, где он рос, дома на Венце, выходили прямо на заливные луга, отражали волжское сияние, распахивались навстречу живым ветрам.

Да, и названья, вернее сказать, имена озёр – разве забыть их, разве от них отречься? Улыбчивое Ромашкино, самое открытое и солнечное озеро, которому, как писал особенно любивший его отец, «лишь бы только солнце отражать», потайной Изумор, изумительно чистый, и прозрачный, и загадочный, охраняемый цепкими дозорами ежевики, а ещё Светлое, Лебяжье, Наташкино, Окуневое, Кобылье, Часы, а ещё баснословно далёкая Шавыринская протока...

Странно, но память об озёрах осталась мне вроде бы как в наследство. Мы много рыбачили, и на заливных озёрах бывали, да только это всё не то. Настоящая пойма – она как мечта, как синяя птица. И если мне трудно приходилось в жизни и что-то не ладилось, то я думал об этой мечте, представлял себе раннее июньское утро в пойме.

– А какие цветы были в заливных лугах! – восклицал который уж раз отец. – Как сойдёт вода, как пригреет, то тут, то там, сначала, глядишь, островками расцветёт земля, а потом уж, к июлю, сплошное разноцветье настанет. Идётся – до сенокоса ещё! – тропкой



на рыбалку, за плечами лёгкие ореховые удилица, рано-рано, зябко, от росы вымокнешь весь, до нитки, и видишь – некоторые, нетерпеливые самые, уж распускаются. А возвращаешься – как не прихватить домой духмяную охапку!..

Мокрые, будто зарёваны,  
В пору как раз сенокосную,  
Утром цветы зачарованы  
Тяжестью, свежестью росною.  
Луч их касается трепетно,  
Будто рука материнская,  
Стеблем услышишь – приветная,  
Корнем почувствуешь – близкая...

После инфаркта, за год до смерти, отец не мог выйти из дома, слишком слаб был. И когда мы с женой возвращались из наших походов-путешествий, обязательно старались порадовать отца букетиком полевых цветов, хотя бы даже самым скромным. Мы в шутку называли меж собой это так: «принести ботанику». И в последний раз отец сразу же распознал среди колосков, васильков, кашек и донника любимый им с детства подмаренник.

На суровые годы пришлось детство отца. Но знаете, сколько бы он ни рассказывал о лишениях, о голоде, о темноте, о крысах, в том числе и в человеческом облики, о дыхании войны, которую – во все времена – ненавидел, о карточках, о ночном небе над Симбирском, разлинованном тревожными прожекторами, о напрочь замерзших в чернильнице чернилах (отец учился в первой школе и сидел как лучший ученик за партой Володи Ульянова), о фотографиях в быстро устаревающих учебниках истории – лицах репрессированных красных командиров, последних ленинцев и прочих «врагов народа» с выколотыми глазами («Незрячие глазницы вместо глаз», – напишет отец после), так вот, сколько бы ни вспоминал он о тяжёлых днях, в его историях всегда находилось место свету и теплу. Вот и в поэме «Дом на Венце» отцу удалось рассказать с теплотой даже о самой ледяной и безжалостной в истории Ульяновска да и всей нашей страны зиме.

Подгорье.... Закрываю глаза и слышу голос отца, читающего поэму, и ощущаю – до мурашек на теле! – щипки мороза, и вижу силуэт мальчишки, знакомый силуэт:

На нём и ватник латан-перелатан,  
И валенки не валенки – беда.  
Хочу окликнуть путника:  
– Куда ты?..  
Но между нами вёрсты и года.  
Заверченный, закрученный позёмкой,  
Он как бы растворяется во мгле...  
Не выдержу, рванусь за ним вдогонку  
И – окажусь в буранном феврале.

Отец наичаще всего рассказывал мне, как отстаивал в ту немилосердную зиму огромные очереди за хлебом, по карточкам, конечно. Понимаете, он, ещё совсем маленький, совсем ребёнок, чувствовал себя взрослым человеком, был рад, что помогает матери. О хлебе, разумеется, чёрном, а не ржаном, спасительном хлебе, «делимом на пайковые ломти», – всегда говорил и писал отец сокровенно, прикровенно:

За пазухой, едва ли не у сердца,  
Я нёс его, предместьем нёс седым,  
Краюшки замороженное тельце,  
Отогревая щупленьким своим.  
(Когда в дни ёлок, будто от излишка,  
Потянет южным яблоком с лотка,  
Вдруг жалко станет мне того мальчишку,  
Так жалко мне его – издалека!..)

Да, а ещё вот какое было жизненно важное дело – собирать хворост для печки. Уже очень больной, отец набросал на клочке бумаги простым карандашом, сидя у окна и глядя на серое небо поздней осени, небольшую зарисовку об этом своём каждодневном труде. Я поздно вернулся с лекций, когда папа уж задремал, зашёл на кухню, случайно прочитал, пробежал глазами – и ком подступил к горлу.

«Чёрным быллом поросло всё Подгорье. Это было очень плохое, но это было единственное тогда топливо. Я собирал осеннюю, в изморози, траву; человеком ли я казался кому-то издали, маленький серый оборвыш в ноябрьском безразличном тумане, или каким-то зверьком, устраивающимся на зимовку, я не знаю. Я собирал эти отжившие растения, сваливал их в кучи, катал из них шары, клубы, метал из них чуть ли не стога, а потом волок, тащил, пёр к дому стеблистую массу будущего огня и дыма, зная, что тепла она даст мало, но уж зато потрещит, позабавится печь! Когда попадались почерневшие остовы подсолнухов, я радовался. Ничтожна причина такой радости: некрасивая вылушенная щеглами шапчонка на узловатом позвоночнике – лета скелет».

Подгорье, да только не нахохленное, не седое от инея, а летнее, цветущее, стрекочущее тысячами кузнечиков вижу я. И отец подводит меня к тополлю своего детства. Как будто бы к родному человеку подводит. И касается раздвоенного ствола. И берёт мою руку, детскую ещё ладошку, чтобы положить её на суровую, застаревшую кору. И я слышу, как где-то глубоко, под корой, бьётся сердце. И чувствую себя взрослее...

На старых чёрно-белых фотографиях в фотоальбомах, даже на выставочных, панорамных снимках Ульяновска, обычно глянцево обобщённых, я сразу же и всегда сумею распознать всё тот же отцовский карандашик. Отец ведь очень любил обыкновенные простые карандаши, стихи писал ими, заметки разные делал. И если он сотрётся от времени, его остро заточенный карандашный грифель – всё равно линии да уголышки останутся на бумаге. Они, эти незримые для других вешки, всё равно как живой голос для меня.

Вот он, дом на Венце, виднеется издалека, всем ветрам открыт, всем лучам солнечным. Там вон жила Дабрена-Калена, сердобольная соседка, прозванная так за нрав свой и неизменную присказку-поговорку; там обитал Панихида, который впоследствии станет известным ульяновским вором; там пил чай из блюдца баснословный Кетым-Барабус – о нём расскажу в другой раз; в те окошки стучался Виха, друг детства, когда будил отца на рыбалку или заходил за ним по пути в школу; а за той вон стеночкой, на подловке, отец нашёл как-то тайник, где хранилась именная шашка белого офицера. Клинок, показавшись из ножен, сверкнул так ярко, что отец зажмурился. У дома на Венце была, кажется, долгая история, была яркая жизнь...

Но о другой истории хочу я рассказать сегодня. Мне пять с половиной. Я не знаю ещё школы, мне не известны детсадовские законы. Дом на Карла Либкнехта, родной дворик с качелями, поросший гусиными лапками, бесконечная радость впереди и бесконечная любовь родителей – вот всё, что меня окружает. Если я и видел нахмуренные брови, то это, пожалуй, июльская туча рассердилась на что-то и пронеслась над Волгой и над городом, таща за собой косые полосы ливня.

«Завтра проснёшься, и новое солнце встретит тебя у двора...» Так, бывало, мне мама пела перед сном. И правда: снова солнечное утро, погожий денёк. Отец приходит домой раньше обычного и торжественно, как-то особенно радостно говорит: «Давай собираться скорее, сегодня поедем в лес, в настоящий, с папоротниками!» «На Генерале, пап, поедем?» – спрашиваю я тоном бывшего путешественника. «На Генерале, на Генерале», – торопливо отвечает отец. «И дядя Коля с нами?» – не унимаюсь я. «А как же... Тёплое возьми что-нибудь, в лесу... там даже овражный лёд ещё лежать может по низинам...»

Это матери дома не было, работала. Сколько помню маму, всегда была она за работой, всегда готовилась к лекциям в медицинском училище, или торопилась в

больницу, или спешила в госпиталь. Как-то, в жару, набегавшись по своему любимому парку, ну где бюст Ильи Николаевича Ульянова, я решил съесть запретный плод, то есть купить в лотке, на выходе из парка, мороженое – фруктовое. Не искристый пломбир, который всегда покупали мне родители или бабушка, не добротное молочное и не приторное крем-брюле, а непопробованное ещё фруктовое, маняще-яркое, на пять копеек, найденных под скамеечкой. Фруктовое. Оно было для меня тогда не менее драгоценным, чем, наверное, мороженое из сирени для Северянина... И вот ем я его торопливо, наслаждаюсь, и вижу вдруг, как в парке появляется мама, вся в сиянии, в платье красивом, улыбается. И хочется мне побежать ей навстречу, это же мамочка моя, но ладошки перепачканы липкой химической дрянью, и я сдерживаю свой первый порыв, и слёзы наворачиваются на глаза. Конечно же – счастливые слёзы...

Да, так мама, само собой разумеется, скептически взглянула бы на нашу с отцом «лесную авантюру», а если бы и позволила уехать, то собрала бы основательно. Но мамы дома не было, и мы, наскоро собравшись, с чистой совестью отправились в путешествие.

Господи, как же я горд был тогда! Мы едем в настоящий лес, с опасностями, с приключениями. Меня берут во взрослую компанию, будут говорить со мной на равных, делиться своими мыслями, смешить, о чём-нибудь спрашивать. А главное и самое замечательное – с дядей Колей и на Генерале!

Почему на Генерале и кто такой дядя Коля? Ну, для коренных ульяновских писателей и вообще «знающих дело» ульяновцев никакого секрета тут нет. Генерал – это, конечно же, замечательный, великий, я бы сказал, шофёр, неподражаемый мастер своего дела и вдобавок остроумнейший собеседник, Санчо Панса ульяновской литературы и журналистики – Сергей Шпилёв. Дядя же Коля – поэт Николай Благов. Я, признаться, больше всего на свете любил, когда в очередную поездку по Ульяновской области отправлялись мы именно в таком составе. А ездили мы много. Отец, как я говорил уже, охотно брал меня с собой в творческие командировки по районам и деревням, главным же видом транспорта являлся для нас тогда синий – цвета речки Урень в половодье – генеральский газик. Кстати, из роддома в страшный, как говорит семейная легенда, гололёд вёз меня домой именно Генерал, бывший верным другом нашей семьи...

Тут ведь, понимаете, какая вещь? Вот встречаю я теперь какого-нибудь литературоведа, и он, многозначительно помолчав, начинает объяснять, какие замечательные стихи писал Николай Николаевич Благов. С расстановкой так, с терминами разными объясняет. А я сразу же вспоминаю: Красная река, жаркий, сияющий полдень, дядя Коля, посадив меня на широченную свою спину, плывёт на самую середину, смешно отдуваясь и оставляя на воде «усы», как небольшой утюжок, и заграбастывая здоровенными своими руками прохладные речные струи. Папа и мама мечутся по берегу, едва ли не простились уж со мной, а мне – смешно. Так вот когда литературовед или критик принимается разъяснять, кто такой Николай Николаевич Благов и каков его лирический герой, мне тоже становится смешно: это же просто дядя Коля, который учил меня плавать на Красной реке!..

В ту пору многие ульяновские писатели просто бредили рыбалкой. Кстати, Благов никогда рыбацкой страсти не понимал, предпочитая перьевым поплавкам и бамбуковым удилищам лёгкий бредешок, в который если уж попадётся рыба, то не мелочь какая-нибудь, а карась, похожий, как он выражался, на «старый крестьянский лапоть». А вот отец рыболовное искусство знал во всех тонкостях, и мне, самостоятельно державшему удочку с четырёх лет, старался передавать крупицы своего мастерства и опыта.

Выходим с отцом из подъезда и я, видя за окошком газика Генерала, приветствую его доведённым до автоматизма жестом: медленно, ритмично помахиваю ладошкой, сохраняя серьёзное выражение лица. Генерал всегда в эту секунду выскакивал из машины, подхватывал меня на руки и восклицал довольный:

– Точно, как генеральный секретарь космонавтов! Точно!

Про жизнь генерального секретаря Генерал мог рассказывать часами. О разных там льготах и привилегиях, о сладкой еде, об охране. О том, как генеральный секретарь отдыхает, как спит, как рыбачит. Но всего более любил он различные вариации на тему, как замечательно жили бы ульяновские писатели, если бы сам Генерал стал генеральным.

Давно уже миновали мы мост через Волгу, Белый Яр остался позади, асфальтовое шоссе сменилось ухабистой просёлочной дорогой, успевшей подсохнуть, пахнущей пылью и сеном. А Генерал всё о своем. Благов с отцом переглядываются, сдерживаются какое-то время, и вдруг вместе, как по команде, принимаются хохотать. «Да я ж серьёзно, – оправдывается Генерал. – Да вы... Профессор, и ты туда же... А я хотел тебя самым главным своим заместителем назначить... Представь, приходишь ты с удочкой на бережочек, а Генерал приказал водолазам тебе карпов на крючки сажать. С крючка – прямо в уху! Нет, теперь назначу Ванюшку своим замом...»

Надо сказать, что отца многие его товарищи звали Профессором. И дело тут, как я теперь понимаю, не только в чисто «профессорской» внешности папы, начавшего сразу же после моего рождения носить бороду, не только в его врождённой интеллигентности. Он очень много знал, был весьма образованным человеком, блестяще разбиравшимся в истории литературы, в языке, в поэзии.

Думаю, что расхожее мнение о стихах отца как о «чистой лирике», причем, прежде всего пейзажной, глубоко ошибочно. Блестящая выделка поэтической строки, отточенность языка, которым папа владел в совершенстве, изобретательность рифмы, чуткость звуковой оркестровки – всё это помогало поэту находить нерв времени, помогало ему говорить правду – свою, незаёмную, лично выношенную и выстраданную. Если внимательно приглядеться к папиным книгам, к тем же «Лилиям с ближних озёр» или «Колоколам под снегом», вчитаться в них непредвзято, то много о чём придётся задуматься. Например, об истории человечества, которая есть всегда история войн, а могла бы быть историей ремёсел, промыслов и искусств. Историей любви... Не случайно Николай Благов в статье «Дом на Венце», посвящённой творчеству отца, писал: «Взыскующая совесть поэта никогда не бывает спокойной...»

Лирик, сочиняющий лишь эстетического наслаждения ради, – это не об отце, не о его художественном мире, равнодушном и тревожном. Вот, например, с какой пронзительной актуальностью звучат сегодня слова из статьи отца о его любимом Сергее Аксакове: «Слишком далеко зашли мы в своей беспечности, а в условиях, когда всё трагичнее «низкий» вопрос выживания, мы под разговоры о раскрепощённости духа незаметно для себя уже притёрлись к многообразному злу жизни, свыкаемся с фактами необыкновенной скорости разрушения природы, и вот, когда даже после небольшого перерыва окунаешься в «золотое время» Аксакова, спохватываешься, что читать его становится мучительно трудно, что прилипают к телу заскорузлые одежды равнодушия, что лучше уж забыть о том, что мы имели; в конце концов, начинаешь ломиться в аксаковскую голограмму прошлого, чтобы хоть на мгновение побыть «На зелёном цветущем берегу... под шатром исполинского осоко́ря», но прочна невидимая стена...

В интонациях Аксакова не услышишь никакой фальши, никакой бестактности, нет лукавства и какого-нибудь подвоха, заискивания, лъстивости; в книгах его не найдёшь односторонне резких оценок человеческих характеров и поступков, а тем более – упреков, раздражительности и угроз. Как врата храма, они открыты равно и для хорошего и для дурного человека. Но рискну предположить, что сегодня содержание очень многих душ человеческих, выраженное в проявлениях застарелой ненависти, неслышанной жестокости, массового воровства, циничнейшего расчёта, глубоко враждебно творениям этого писателя».

Да, так вот казалось, на любой, самый сложный, вопрос отец мог найти ответ. Кто-то однажды поинтересовался насчёт раритетной книги Полевого «История российской словесности», о которой вычитал в одном из архивных материалов. Папа же сразу процитировал по памяти едва ли не целую страницу из этого замечательного издания.

Речь шла, помню, о закатившемся солнце русской поэзии, о единственном отклике на смерть Пушкина, напечатанном в углу газетного листа рядом с анекдотом о том, как французы жарят каштаны.... И не удивительно: изданный Марксом в 1900 году иллюстрированный трёхтомник стоял у нас на полке. Это был подарок Петра Сергеевича Бейсова – известного знатока творчества Гончарова, преподавателя педагогического института, где учился отец. Папа много мне рассказывал о дружбе, связывавшей его с Бейсовым, о том, какой это был светлый и мудрый человек. Вообще отец всегда, при любой возможности, говоря с умным человеком или листая интересную книгу, старался учиться – признак истинного комментатора. Так что обращение Профессор было в данном случае заслуженно уважительным.

– Значит, замом моим... – хотел было вновь оседлать своего излюбленного конька Генерал.

– Нет, – взмолился Благов. – На обратном пути, на обратном, – заокал он недовольно. – Лучше про ерша.

Генерал ведь сочинял замечательнейшие в своём роде стихи, полные искрящегося остроумия. Только понятны они могут быть лишь тем, кто понимает, о чём идёт речь, кто в курсе дела. В общем-то Генерал рифмовал и складывал слова про своих и для своих. И как раз недавно из-под его... как бы это сказать... нет, не пера, а баранки вышел настоящий шедевр анаграммной устной поэзии. Воспроизвожу который исключительно по памяти: «Генерал поймал ерша // Для Профессора кота. // У Профессора берёт, // У других – наоборот. // Потому что для него // Генерал поймал его...» Решайте сами, кто для кого и кого поймал, а я лишь добавлю, что наш кот Сан Саныч, наш верный добрый Сан Саныч, и правда, обожал варёных волжских ершей.

Под такие-то вот истории и разговоры мы въехали в странное село, больше похожее, как я теперь думаю, на выселки. Несколько брошенных домов, запущенные сады, а посередине – двухэтажное здание, явно жилое, ухоженное, ухетанное со всех сторон.

«Медяньское! – торжественно объявил Генерал. – Илья Ильич, покажись, встречай гостей!»

Илья Ильич оказался бывшим учителем. А большой дом – бывшей школой. Когда-то Илья Ильич был её директором, а теперь люди поразъезжались в разные места, школу закрыли, и живёт он вместе с женой прямо в школе. Не дал ей разрушиться, сохранил. А что порушилось – восстановил. Место-то родниковое, и воду пустил Илья Ильич в дом прямо из родника – по деревянному желобку. Такой воды, вот уж действительно живой, я нигде не пивал больше. Но особенно запомнился мне сад. Собственно, не деревья запомнились, а их имена. Видите ли, Илья Ильич в память о своих учениках яблони, вишни и сливы назвал их именами. «Вот Анечка, – показывал он мне на яблоню. – Видишь, кивает в ответ. Вот Тимоша, баловник... А это Женечка...»

Я тогда, понятное дело, мало что мог понять. И всё-таки в душе осталось после той встречи какое-то необъяснимое волнение. Привкус родниковой воды остался. Как знать, может, именно тогда вся моя дальнейшая жизнь связалась незримыми, но прочными нитями с профессией учителя. Во всяком случае, позже я вновь и вновь возвращался мысленно в Медяньское, к Илье Ильичу, чтобы поговорить с его деревьями-учениками. Что ж, оказывается, бывших учителей и бывших школ не бывает...

Так случилось, что, переехав в Саратов, мы с отцом очень редко ходили в леса, по грибы. Всё больше на рыбалки, поближе к воде, следовали, так сказать, ритму лёгкого вёсельного взмаха. А вот в лес – нет. И то правда, таких лесов, как рядом, допустим, с Крестово-Городищем, не встретишь в Саратовском крае. И потому, может быть, так и остался в моём сознании ульяновский лес настоящим лесом, в леоновском, если угодно, смысле этого слова.

– Мой! – воскликнул Генерал, заметив прямо на въезде в бор крепыш-боровик. – И это мой, а тот вон, и тот – тоже для Генерала!

– Тут всё для Генерала, – развёл руки в стороны Благов. – Зато вон та поляна – вся! – наша с Профессором.

Оставив Генерала неподалёку от машины, мы углублялись всё дальше и дальше в чащу. Звуки окликали друг друга, удивлённые птички голоса бежали по вершинам деревьев, папоротники скрывали за своим узорчатым рисунком тихую лесную тайну. «Скажи что-нибудь громко, – попросил вдруг отец, – или просто аукни! И сразу же прислушайся». Я громко сказал: «Лес!» И через несколько мгновений услышал: «Лес... лес... здесь...» Тогда я закричал: «Ручей!» Эхо ответило вопросом: «Чей?.. Чей?..» И тут я, заболтавшись с эхом, чуть не упал: прямо носом наткнулся на огромную паутину, в центре которой сидел паук с крестом на спине.

– Не бойся, это обычный крестовик, – подбодрил меня отец. – Смотри, как искусно сплетены кружева паутины, какая тонкая работа! Стоит лишь какому-нибудь мотыльку задеть её крылышком, и...

И тут прекрасная лесная бабочка зацепилась за краешек коварного узора.

– Папа, пап, давай поможем ей убежать, ну пожалуйста!

Мы осторожно, чтобы не порвать тончайших нитей, высвободили крыло пленницы, оставившей на моих пальцах что-то вроде цветочной пыльцы, только ещё легче и нежнее.

– Мужики, что вы там ерундой-то занимаетесь, – забасил Благов. – Грибы собирайте, грибы!.. Да обабки, обабки-то не берите – гриба полно!

У отца есть волшебное стихотворение «Грибник», в котором он удивительно живо рисует образ грибника, только что вернувшегося домой с тихой охоты, принявшегося разбирать свою добычу, да так и заснувшего прямо перед корзиной. А в корзине-то, в корзине:

Гриб русских лесов, ты небросок и прост,

Ах, белый, ты, как соловей, неприметен!

А это вот масленик в липком берете,

А это вот рыжик, помнёшь – купорос.

Обабки набрякли дождями, как вата,

Волнушки совсем раскрошились – и пусть,

Но будет корзинка чуть-чуть скучновата,

Коль в ней не скрипит перламутровый груздь.

Вот и в наших корзинках и рюкзаках скоро совсем не осталось места. Поначалу я не находил грибы, смотрел прямо на них – и не видел. Но уже вскорости по привычке к разноцветью лесного настила и начал потихонечку различать коричневатые шляпки и белые ножки. Вот он, подберёзовик, настоящий, чуть изогнутый, будто бы потягивающийся, в приплюснутом головном уборе. Кажется, ещё мгновение – и он заговорит человеческим голосом... Особенно потряс меня дух самой грибницы, густой настоей перегноя, запах живой сырости, вомшившийся даже под кожу ладоней. Я всё никак не мог научиться воспринимать находку гриба как данность, всякий раз вопя на весь лес: «Нашёл! Пап, ещё один нашёл!»

– Вот Ванька горланит, – прошептал Благов отцу, – а я ведь тоже когда-то так радоваться умел. Тут, неподалёку, родное моё Крестово-Городище...

Когда не станет Николая Благова, истинного богатыря русской поэзии, не сумевшего противостоять зависти и бездарности, не сумевшего и не захотевшего уместиться в новые «форматы» во всех их чинопоклоннических вариантах, отец вспомнит в статье-некрологе о свободном голосе поэта, вспомнит и ту нашу поездку в далёкий бор, не позабудет и о том, как хаживали они с ним вместе под руководством Шустова по сурским лесным угольям в мае, когда над бурной Сурой при порывах ветра проносились черёмуховые метели... «Хочется окликнуть тебя: Николай! Чтобы снова и снова прислушиваться в тревожном ожидании ответа», – напишет отец.

А я, признаться, всё чаще и чаще вспоминаю в последнее время Генерала. Кстати, он ведь, и правда, долго служил в армии, любимый наш дядя Сережа, хотя и не совсем в

генеральском чине. Я вспоминаю его смех, его нелепые байки, его добрые глаза. Если честно, я до сих пор, видя хорошо знакомого мне человека, могу инстинктивно поднять ладонь и помахать с непроницаемым выражением лица. Да только вот никто и никогда уже не воскликнет радостно: «Точно, как генеральный секретарь – космонавтов!»

Где теперь наш синий газик, пахнувший бензином и просёлочной колеёй, иногда недовольно чихающий мотором, но чаще бодрый, и поджарый, и готовый к новым поворотам? Когда же, за каким поворотом оборвались они, дороги моего детства? Ах, Генерал, Генерал, многое бы отдал я теперь, чтобы просто тебя увидеть и броситься тебе на шею с радостным криком!..

...А потом была дорога домой. Я страшно устал и заснул прямо у отца на коленях. Дома мать ахнула, всплеснула руками, укоризненно посмотрела на нас с папой, но сколько же любви скрывалось в её мягком взгляде! Я гордо – сам! – приоткрыл одну из корзин. Охи и ахи были нам наградой. Помню, я всё не хотел, хоть и ног под собой не чувял, укладываться спать, твёрдо решил дожждаться, когда поджарится сковородка белых. «Да ты просто приляг на диван, – хитро улыбнулась мама, – а как грибы подспеют, я тебе принесу...» И вот прилёг я, обхватил руками любимого плюшевого мишку и слышу: на кухне отец и мама говорят тихонечко, отец рассказывает что-то, а мама смеётся. И шипит масло на сковородке. И дух жареных с луком грибов проникает в комнату.

Но я этого почти уже не чувствую. Я засыпаю. Я вижу влажные коричневые шляпки в разноцветной лесной траве. Я слышу, как зовёт меня лесное эхо. Я держу отца за руку и знаю, что утром меня разбудит мама.

Наверное, то были самые счастливые минуты во всей моей жизни.